

СОВЕТСКИЙ КОМИТЕТ
ЗАЩИТЫ МИРА

ВЕК **XX** И МИР

■ EL SIGLO XX Y LA PAZ ■

■ DAS 20. JAHRHUNDERT UND DER FRIEDEN ■

В НОМЕРЕ:

«С ЛЕНИНЫМ В БАШКЕ»

Большевизм в прошлом и настоящем

СТРАШЕН ЛИ НАРОД?

Народ и власть в Самиздате

ИМПЕРИЯ: ЗА И ПРОТИВ

Аргументы консерваторов

ISSN 0320 8001

8/90



В НОМЕРЕ:

Почта

«УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ...» 2

Мир — дело общее

М. КОЗЕЛЬЦЕВ. ВЫЖИВЕМ — ВМЕСТЕ 6

Страна в движении

Б. ЛЬВИН. ДОЛОЙ ИМПЕРИЮ! 10

Г. ГУСЕЙНОВ, Д. ДРАГУНСКИЙ, В. ЦЫМБУРСКИЙ.
ИМПЕРИЯ — ЭТО ЛЮДИ 15

Свобода слова

М. ЗОТОВ. ПОДСПУДНЫЙ ЖАР 23

А. БЕЛИНКОВ. ТЕХ, КТО МЕНЯ УНИЧТОЖИТ... 26

Г. ВЛАДИМОВ. ЛИК ВСЕГО НАРОДА? 28

Р. ВАНАГАЙТЕ. ВОЗЬМИТЕ И НАС В
НЕЗАВИСИМОСТЬ 30

Проблемы и суждения

В. ЧАЛИКОВА. С ЛЕНИНЫМ В БАШКЕ 33

Г. ФЕДОТОВ. ПЕРЕД ПАМЯТНИКОМ ЛЕНИНУ 39

Эссе

Ю. ХАЛФИН. АПОСТОЛ ХОЗЯИНА

На наших обложках: сюжеты перестройки. Фото слева — Азеринформ (г. Баку), на 3-й странице — Льва Шерстенникова (г. Москва).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

«Уважаемая редакция...»

Флаг России

Очень обидно было прочитать в вашем журнале в статье М. Жеребятьева «По ту сторону империи» слова, в которых автор пренебрежительно говорит о русском национальном флаге: «Действительно, был ли когда-нибудь у русских свой национальный флаг? Трудно назвать русским национальным флагом петровский имперский «триколер», переделанный из голландского...»

Конечно, у автора могут быть свои суждения на сей счет, но я не согласен с его интерпретацией появления русского национального флага. История российского флага насчитывает более 300 лет. Указом царя Алексея Михайловича были подтверждены государственные цвета России: белый, синий, красный. (Как известно, Пётр Великий принял царствование 26 апреля 1682 года, а Алексей Михайлович — его отец). Здесь следует отметить, что в России эти цвета (белый, синий, красный) почитались издавна и имели свои символические знамения: белый — благородство, синий — честность, красный — смелость и великодушие. Аналогичные цвета повторяются и во флагах славянских государств (Чехословакия: синий, белый, красный; Югославия: белый, красный, синий; Польша: белый, красный; Болгария: белый, красный).

Следует указать также, что в гербе г. Москвы присутствуют эти три цвета

(красное поле, Георгий в синей мантии на белом коне). А Москва — исконно русский город...

Еще одно объяснение российских национальных цветов можно найти в составных частях России: Великороссии, Малороссии и Белороссии. (Действительно, Россия получила себе название только после объединения Великороссии, Малороссии и Белороссии.) Великороссам принадлежал красный цвет, малороссам (украинцам) — синий, белорусам — белый.

К середине прошлого века существовало уже два российских флага: бело-сине-красный и черно-желто-белый (его появление было обусловлено немецкой ориентацией русских царей). Черный и желтый не были русскими национальными цветами, и появление нового государственного флага (введен Александром Вторым в 1858 году) вызвало протесты. Была учреждена комиссия «Особое совещание для выяснения вопроса о русских национальных цветах». Она выработала компромиссное решение: белый, синий, красный объявлялись национальными цветами, а черный, желтый, белый — цветами династии Романовых (решение вступило в силу в 1883 году).

Русский национальный флаг существовал до 1918 года...

Борис ФЕДОРОВ,
г. Ленинград.

Администрирование и районирование

В номере 10/89 под одной редакционной «шапкой» опубликованы два совершенно разных материала. Автор первого, Анатолий Михайлов, выдвигает странную идею создания на территории России «ряда равноправных суверенных русскоязычных государств». Второй материал, которому редакция предпослала название «Власть — Землям!», представляет фрагменты совещания, проведенного редакцией с сотрудниками Института географии АН СССР во главе с заместителем директора профессором Н.Ф. Глазовским по глобальным и региональным проблемам эколого-экономического развития.

В ходе этого обсуждения мною была упомянута история районирования для планирования СССР, в разработке которой активное участие принял Н.Н. Баранский, основоположник советской экономической географии. Совмещение материалов может создать впечатление, что взгляды Н.Н. Баранского совпадают с рекомендациями А. Михайлова. В действительности они диаметрально противоположны.

А. Михайлов предлагает разделить Россию на семь-десять Республик (Земель), регионов, в которых «речь идет прежде всего о политической суверенности: свое правительство, свой МИД, контроль над природными ресурсами, свое гражданство». Создание такого рода «удельных княжеств» с искусственными перегородами противоречит историко-географическим основам существования страны, нарушает ее производственно-экономические связи и единство и противоречит мировым тенденциям интеграции, что неизбежно отрицательно скажется на социально-экономическом развитии СССР.

Не имеют научного обоснования и предложения «приступить к наделению суверенностью окраинных ча-

стей России», которым вменяется роль «политического и экономического буфера между остальной частью России, Союзом и всем миром». Над этими искусственными образованиями предлагается возведение института «центрального (или же союзного) Комиссара», закрепленного в республиканских (земельных) Конституциях, что неизбежно будет плодить дополнительный административный аппарат, ущемляющий хозяйственную самостоятельность на местах.

Но именно против подобного административно-бюрократического подхода и была направлена теория районирования, которую отстаивал Н.Н. Баранский.

Проект экономического районирования для планирования от 1921 года (который, по словам Баранского, был похоронен в 30-е годы методами волюнтаристского администрирования из центра) исходил из принципа, что «при выработке рационального плана хозяйства для страны предстоит подразделить ее на хозяйственно-самостоятельные единицы — районы... По существу дела составление хозяйственного плана для района должно быть делом самого района, так как требует глубокого знания местных условий и активного участия населения, без чего составление и выполнение плана трудно осуществимо». Н.Н. Баранский подчеркивал, что район — это «производственно-территориальная единица, по возможности экономически законченная (но не замкнутая), с максимально развитыми производственными связями внутри нее и со специализацией в общесоюзном масштабе».

Административное управление должно соответствовать этим исторически сложившимся частям единого государственного целого. Баранский никогда не предлагал придать

районам статус политической суверенности. Напротив, он исходил из того, что районирование будет содействовать интеграции страны и формированию единого народнохозяйственного комплекса СССР. Самоуправление не требует политиче-

ской самостоятельности, и его проблемы могут быть решены в рамках экономических районов.

Г. СДЯСЮК,
доктор географических наук,
ведущий научный сотрудник
Института географии АН СССР.

Пришедший хам

5—6 мая в Библиотеке иностранной литературы заседал Российский демократический форум.

Представим себе картину: двое мужичков с обширными брюшками, игривыми гримасками и прочими физиономическими атрибутами начальства среднего или низшего звена (включая отсутствие мысли) балагурят о том, когда «будем менять власть» — нынешним летом или в следующем году? Этим ограничиваются разногласия. Затем залихватски, с бодряческим умилением смакуются революционные мероприятия: учредительное собрание, рыночная экономика, всеобщие выборы президента... — зажимаются пальцы на пухленьком кулачке... Не правда ли, вы уже не раз видели все это?

Надо сказать, что до этого я подспудно отождествлял радикализм с некой разновидностью романтизма, идеализма. Теперь же — пожалуй, в первый раз так мучительно, неотвратимо — пришлось убедиться в столь нестерпимом, жирном и пузырящемся насыщении радикализма пошлостью.

Радикализм стал пошлым, когда с него был снят тормоз страха. Обыденность окончательно потушила последние проблески героического в этом явлении. Фривольный радикализм мужичков-бодрячков, а также мальчишков комсомольских вида и хватки, жестокий и мрачный радикализм безумных старух, истерический — визгливых дамочек и тому подоб-

ных статистов, удельный вес которых в движении все возрастает, возрастает катастрофически...

Корни их радикальности — не в демократической или правозащитной идее, вообще не в идее, а в чем-то неререфлектируемом, вегетативном. Все эти люди могут быть бесстрашными только в толпе, снимающей их зачаточную индивидуальность, в притупляющей массе других радикальных тел. И жутко, что тел становится все больше, они неудержимо плодятся в партиях, народных фронтах, демократических форумах. Тут уже действуют какие-то чисто механические причины, законы вульгарной социологии. Еще один отвратительный момент ожидания, и эти одноклеточные, не состоявшиеся в одиночку, соединятся в жилистое и безмозглое тело толпы и будут что-то орать, кого-то кромсать...

Когда быть радикалом становится легче, чем быть рыболовом, это означает, что раскачивать (здание, лодку, государство) осталось недолго: на подмогу надрывающимся маломощным дээсовцам придет масса старательных бодрячков, которые будут раскачивать, веселиться и играть (чтобы потом кровотокающим месивом конвульсировать под обломками).

Нельзя сказать, что лютый радикализм с налетом нищенства (ставка на сильных собственников, к черту слабых, нужных только для массовости) не получил на «форуме» ника-

кой отповеди. Например, аргументы вождя либерально-демократической партии против радикализма были действительно либеральны — здесь не к чему придраться. Однако знамением неумолимого рока показалось мне то, что они были не просто поверхностными и плоскими, — это бы еще ничего; но они были пошлыми и не просто пошлыми, но еще и с каким-то скверным оттенком. Когда тот, лучась самодовольством преуспевающего политика, сравнивал страну с женщиной, которую можно изнасиловать (как намереваются радикалы), а можно склонить, соблазнить, на что потребуется больше времени, зато и результат будет вернее (таковы либералы!), за подтверждением данной мысли он обратился к своей знакомой (давайте у нее спросим!), похватывая ее и пощупывая, а она похотывала, повизгивала.

— Да он просто идиот! — орала старухи, бешено на него озираясь: сальности партийного босса, видимо, до конца дней будут у них ассоциироваться с либерализмом.

Таково было второе открытие дня: пошлость не избирательна, она не является привилегией радикалов. Она неотъемлемая черта новорожденной многопартийности, огромное родимое пятно в пол-лица, сверкавшее и на недавнем съезде социал-демократов.

Когда-то Бердяев писал, что коммунистическая Россия, подобно царской, полна гоголевскими «рожами и харями, в ней искажен человеческий образ».

Вся глубина этого искажения обнаруживается теперь при прощании с коммунизмом. Похоже, что многопартийная демократия постепенно изобличает себя как новая шизофреническая затея российского утопизма. Она не устраняет ничего из того, что служило опорой тоталитаризму, — примитивной революционности, фанатизма и стадности (отсутствие личности сверху донизу, вдоль и поперек), наивной веры в мессианскую роль политических структур, в чудодейственную магию власти (черную — сегодняшней, белую и добрую — будущей) и, наконец, нечеловеческой, смердяковской пошлости.

...На съезде социал-демократов идет представление. Требовательная партийная масса задает каждому представляющемуся деликатный вопрос: был ли он членом КПСС? На лицах испытуемых написано предвкушение этого вопроса. Им не терпится обнажить перед взыскательными товарищами свою непорочность...

Кончилось идеологическое принуждение, ослабло давление государства. Тоталитаризм, спокойный за свои глубинные корни, затаился в ожидании очередной кульминации календарного цикла. Настала «многопартийность». Хари стали демократическими, плюралистическими, но не перестали быть однообразными и пошлыми. Не перестали быть — харями.

Сергей МИТРОХИН,
г. Москва.

ВЫЖИВЕМ — ВМЕСТЕ

Михаил КОЗЕЛЬЦЕВ

О НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ЗА МИР НА 90-Е ГОДЫ

Термины «развитие» и «безопасность» на первый взгляд кажутся антитепами. «Безопасность» вызывает устойчивые ассоциации с незыблемостью порядков, стабильностью процессов. «Развитие» отождествляется с непрерывным изменением системы. При более тщательном анализе, однако, прослеживается глубокая взаимосвязь этих понятий. Опасность (потенциальная угроза нормальному функционированию общества или жизнедеятельности человека) всегда сопутствует развитию цивилизации. Развитие фактически представимо как постоянное преодоление опасностей. В жизни не бывает абсолютной безопасности, опасность можно ослабить, видоизменить, но нельзя полностью ликвидировать. В этом смысле выражение «безопасный мир» — термин скорее художественного плана, нежели научного. Безопасность как стратегия защиты от опасности нацелена в конечном итоге на выживание системы, то есть сохранение ее целостности.

Выживание — самая сильная потребность общества и человека. В ходе развития мировой цивилизации реализуются различные формы безопасности, которые можно исследовать и систематизировать. Полному встает проблема выживания в

наши дни. Заметим, что сохранение стабильной, неизменяющейся общественной системы отнюдь не гарантирует безопасности, скорее влечет к застою и постепенному разрушению (примером из древней истории может служить ослабленная и покоренная Византия).

Крайняя форма проявления опасности, разрушающая систему, — это катастрофа. В разных сферах человеческой жизни она является как социальная революция, война, крупномасштабная технологическая авария, экологическое бедствие и т. д. Если опасность присуща процессу развития, то возникновение катастроф отнюдь не предопределено фатально и может быть вовремя предупреждено при устойчивом по своему характеру развитии общества.

Концепция безопасности начала складываться еще с древних времен, когда изолированно друг от друга существовали племена и народы. Локальные экологические и демографические кризисы принуждали их к перемене мест, отовоеванию нового пространства у соседей. «Выживание за счет другого», наверное, так можно было бы сформулировать их девиз, который во многих чертах сохранился и в наше время. Естественным образом концепция безопасно-

сти оформилась в международном праве после окончания Тридцатилетней войны XVII века в виде неограниченного суверенитета государства. Для суверенного государства, обладавшего неограниченными правами проведения внутренней и внешней политики, существовало несколько способов обеспечения своей независимости и самостоятельности. Они варьируются в той или иной степени и в настоящее время. Первый, характерный, например, для восточных империй, и, пожалуй, наиболее неэффективный — полная изоляция от внешнего мира, опускание «железного занавеса». В результате — развитие самобытной культуры и образа жизни, отставание в области науки и техники, экономическая и политическая зависимость от более развитых стран.

Более эффективная система защиты, конечно, коллективная. На этой основе, все так же с целью сохранения национального суверенитета, образуются религиозные, экономические, военные, политические союзы. Коллективная безопасность рождается из национальной государственной безопасности. Правительства определяют судьбу своих народов, массы следуют за ними. В результате континенты раскалываются на соперничающие между собой части. Происходит постоянный процесс перераспределения ресурсов между старыми и новыми структурами: территориальные уступки, экономические льготы, признание определенных политических прав и т. д. Для всех подобным образом создаваемых союзов характерна их историческая недолговечность. Так, быстро сошел с исторической сцены Священный Союз государств, победивших Наполеона.

Подобные системы коллективной безопасности крайне неустойчивы. Безопасность здесь отождествляется с балансом сил, нарушение которого

вызывает ответные меры. Ситуация статического равновесия не может долго сохраняться, и в балансе сил неизбежна; значит, становятся неизбежными политические, экономические (блокада), военные катастрофы. Если прогнозировать сохранение такой концепции безопасности в XXI веке, то только такой технический по своей природе фактор как ядерное оружие сдерживал бы страны от необдуманных действий.

Неустойчивый характер развития системы коллективной безопасности предопределен недостаточной степенью интеграции всех членов союза, глубокими различиями по географическому положению, этническому составу, уровням экономического и политического развития. Характерным примером может служить союз католических стран Испании и Шотландии времен их неудачной борьбы с елизаветинской Англией. Неустойчивость определяется однофункциональным характером этого союза при существенных контрастах между этими странами во всех других сферах жизни.

В истории XX века существенную роль играли и пока еще продолжают играть военно-политические блоки. Это еще одна форма защиты национального суверенитета, с 50-х годов выступающая под «идеологическими знаменами». Страны, входящие в оборонительные блоки НАТО и Варшавского Договора, достигли наибольшей степени (по сравнению с предыдущими примерами) интеграции внутри каждого из них. Сформировались системы идеологической, политической, экономической защиты. Возникла видимость системы интегральной безопасности, но лишь видимость, так как уже становится очевидным, что эти блоки исторически обречены.

Никогда еще в истории развития

цивилизации перед человечеством не возникало таких серьезных опасностей, непосредственно угрожающих его выживанию как целого. Среди «общих врагов» для всех стран — угроза всеразрушающей ядерной войны, эпидемия новых болезней, экологический кризис, проблемы экономического роста, демографическая и энергетическая проблемы, международный терроризм и наркомания и другие опасности. Преодолеть эти опасности в одиночку или даже в блоке государствам становится не под силу.

Национальная безопасность суверенного государства с неограниченными правами неминуемо определяет неустойчивый характер его развития. Приоритеты национальной безопасности, опирающиеся на принципы самообеспечения и саморазвития (опора на собственные силы), непрерывно воспроизводят опасные кризисные ситуации, грозящие перерасти в катастрофу или в экологии, или в технике, или в социальной области. Примером может служить экономическая политика нашей страны в деле самообеспечения хлопком, продуктом, имеющим важнейшее значение, в том числе и для оборонного комплекса. Экологическая и социальная катастрофа региона Аральского моря — итог этой политики. Близок по характеру пример строительства Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (целлюлоза для авиации) в южной части Байкала, где в настоящее время сложилась кризисная экологическая ситуация.

Военно-политические блоки не усиливают, а, наоборот, постоянно снижают уровень безопасности, если рассматривать ее как интегральную. Неустойчивая ситуация (статический баланс сил), которую они порождают, предопределяет стремление к избыточной безопасности. Избыточная

безопасность концентрирует средства защиты на какой-то одной выбранной области, реально военной, «оттягивая» на себя ограниченные ресурсы от других областей. Недоверие между людьми и народами усиливает этот процесс «сверхзащиты». Возникает опасная психология «прорыва», когда в остром соперничестве блоков на свет преждевременно (с точки зрения подготовленности общества) появляются опасные технологии. Но получается парадокс — стремление достичь абсолютного превосходства (а оно в сегодняшнем мире сверхразрушительного оружия недостижимо) за счет создания мощного военного потенциала, наоборот, делает позиции правительств более уязвимыми из-за экономических и экологических кризисов, социальной незащищенности населения.

Мир расходует 2,5 миллиарда долларов в день на военные нужды. Впервые в истории человечества есть финансовые, технические возможности покончить с голодом, неграмотностью, однако ежегодно на планете погибают от голода и недоедания десятки тысяч человек, растет абсолютное число неграмотных, стремительно увеличивается количество беженцев.

Разрыв между развитыми и развивающимися странами во всех областях обеспечения безопасности расширяется. Это касается показателей продолжительности жизни, уровня ВВП на душу населения, а в области технологической безопасности — количества аварий и масштаба их последствий.

Такая ситуация в потенциале содержит в себе риск катастрофы. Отметим, что угрозу катастрофы вызывают не столько опасности в их абсолютном, так сказать, значении, сколько опасная аномальная ситуация чрезмерных контрастов в струк-

туре распределения ресурсов. Статистика и факты свидетельствуют, как мы видим, о наличии такой ситуации в системе Север — Юг. Критически неравномерное распределение природных ресурсов, власти, имущества, энергообеспеченности и др. порождает теории «недостаточного жизненного пространства», «избранности расы», «сферы жизненных интересов» и т. д.

Для снижения контрастов развития Западной и Восточной Европы председатель Комиссии Европейского Сообщества Жак Делор призвал предоставить Восточной Европе за 10 лет 100 миллиардов фунтов стерлингов, хотя это предложение многие правительства государств «Общего рынка» расценивают как нереальное. Между тем НАТО каждый год расходует 200 миллиардов фунтов стерлингов.

Таким образом, в настоящее время происходит постепенное «моральное» старение понятия «национальной безопасности», основанной на концепции неограниченного суверенитета. На смену старому лозунгу «Выживание за счет других» приходит лозунг «Выживем вместе». Система национальной безопасности должна постепенно трансформироваться в систему интегральной безопасности. Будущей моделью безопасности мира может явиться только мировое сообщество добровольно ассоциированных равноправных партнеров, полифункциональное по своему характеру, где кардинальные решения будут приниматься сообща на основе взаимного согласования и учета интересов. Только на этой основе возможно устойчивое развитие, то есть развитие без катастроф. Конечно, дело многих десятилетий — создание настоящего равноправных отношений между партнерами. Здесь и вопросы преобразования существующего экономического порядка, и пробле-

мы совместного регулирования процессов развития и сохранения природной среды, конверсии и т. д. В центре этих проблем — признание за каждым народом права на свой оригинальный путь вхождения в мировое сообщество. Это особенно важно подчеркнуть сейчас, когда создается иллюзия, что западный путь развития — окончательная модель для всех. Все народы находятся в непрерывном развитии, и все они учатся друг у друга, пополняя мировой опыт.

Сейчас складывается уникальная возможность перераспределить финансовые, человеческие и материальные ресурсы из военной сферы в другие области безопасности на благо созидательного решения экологических, продовольственных, энергетических, демографических и других глобальных проблем современности. Военные бюджеты — единственный источник получения ресурсов в таком масштабе.

Формирование мирового сообщества на основе системы интегральной безопасности ставит новые задачи перед движением за мир. Борьба за мир давно переросла рамки антивоенного движения и стала миротворчеством, то есть созиданием нового безопасного ненасильственного и справедливого мира. В этих условиях рождающаяся в теории и на практике целостная и всеохватывающая концепция безопасности становится основой формирующегося мирового движения общественных сил, их объединения и консолидации. Можно предвидеть возникновение дискуссий по проблемам интегральной безопасности, сущности позитивного мира, нового понимания суверенитета и т. д. Одной из новых форм интернационального взаимодействия могла бы стать сеть международного общественного мониторинга за сверхопасными аномальными ситуациями.



ДОЛОЙ ИМПЕРИЮ!

ЗАДАЧИ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Борис ЛЬВИН,
экономист,
г. Ленинград

О национальном вопросе в СССР говорят и пишут все. Но всегда ли правильно его понимают? Похоже, что очень редко. По-нашему мнению, национальный вопрос — это не только самый сложный и самый острый вопрос в Советском Союзе. Это — еще и в некотором роде единственный решающий вопрос. Нам видятся три его уровня.

СМЕРТЬ ИМПЕРИИ ЕСТЕСТВЕННА

На первом уровне бросается в глаза естественный конфликт дряхлой и распадающейся империи с покоренными и восстающими против нее народами. Народы эти поражают своим разнообразием. Объединяет их, по-настоящему, одно — то, что природа поселила их в пределах дося-

гаемости российского империализма.

Различаются же они всем: языками и религией, уровнем развития и историческим наследием, культурной ориентацией и способностью простого воспроизводства, расой и размером территории. Причем сочетаться эти особенности могут тоже исключительно разнообразно. Так, православие исповедуют и грузины с древнейшей царско-дворянской историей, удивительным алфавитом, неповторимой культурой и исключительным по силе чувством национального достоинства, и чувашаи — тихий крестьянский народ на Волге, говорящий на языке тюркской группы. В Прибалтике можно найти ревностных католиков-литовцев с высокой рождаемостью и воспоминаниями о средневековом величии своих князей и близких финнам лютеран-эстонцев, с рождаемостью крайне низкой, без

всяких традиций национальной государственности, но с самым высоким в СССР уровнем экономического и культурного развития.

Колониальный статус народов СССР двусмысленен и неопределен. С одной стороны, все они были завоеваны сперва царями, а затем заново большевиками; везде в 20-х, 30-х, 40-х годах жестоко преследовалась и уничтожалась культурно-религиозная интеллигенция и элита наций; большинство этих народов испытало такие потрясения и репрессии, что термин «геноцид» часто не будет преувеличением. В 1930—1932 годах вымерла целая ветвь казахов — треть их общего числа.

Голодом усмиряли украинцев. В Сибирь депортировались и там умирали сотни тысяч литовцев и калмыков, молдаван и немцев, чеченцев и турок. Не-славянские народы резко дискриминированы в реальной жизни — их представители крайне редки в аппарате ЦК, в правительстве, в КГБ, в офицерском корпусе и т. д. Наконец, в широких масштабах велась целенаправленная русская колонизация, особенно в Прибалтике, Молдавии, Средней Азии.

Но с другой стороны, советская идеология неустанно подчеркивала якобы равноправие и суверенитет «советских наций», их будто бы невиданный расцвет. Эта пропаганда подерживалась формальными, символическими правами республик, которые, конечно, не имели отношения к реальности. Таково, например, знаменитое право на выход из состава Союза, независимость судебных систем и кодексов союзных республик. Но в момент перестройки мифические «права» стали — нет, не реальными правами, — они стали орудием борьбы за национальную свободу. Москва провозглашает «правовое государство» — и ее противники внутри СССР берут на вооружение те фиктивные

права и законы, которые Москва сама использовала для внешнеполитической пропаганды. Однако не надо заблуждаться — в споре противоречащих друг другу законов решать будет не беспристрастный судья, а прямое давление и сила. Союзником молодых наций будет здесь растущий распад механизмов центральной власти, и именно на них, на освобождающихся народах, будет проверяться степень бессилия и силы Москвы... Империи распадаются без наркоза!

БОРЬБА ЗА ПЕРЕДЕЛ ЕВРАЗИИ НЕИЗБЕЖНА

На втором уровне разрастаются и углубляются конфликты внутри самих наций Советского Союза и между ними.

Есть две особенности советских наций, обостряющие эти конфликты.

Первая — это континентальный характер империи. Народы не разделены морями, их границы с Россией и друг с другом часто не определены.

Вторая — это то, что народы СССР обычно либо малы численно (порядка двух-четырех миллионов человек), либо не имеют традиций своей национальной государственности. Обращает на себя внимание, что нации, еще при царе заметные своей автономией и стремлением к независимости (Польша, Финляндия), смогли выстоять перед советской «реконкистой» 20-х—40-х годов.

Нации СССР еще по-настоящему не определили своих границ. Те границы, что есть сейчас, проведены по разным принципам: где по географическим (по хребтам гор и рекам), где по историко-династическим (границы давних феодальных княжеств и царств), где по этнографическим. Часто же при определении и изменении границ решающим был произвол правящих кланов. В сталинско-бреж-

невском СССР внутренние границы были делом формальным и второстепенным; захотели — и передвинули, и уничтожили. А в результате эти границы почти нигде не воспринимаются как естественные, как освященные историей или законом, хотя бы как сложившиеся в результате войн и соглашений народов. Мы категорически утверждаем, что настоящие споры о границах еще не развернулись, но развернутся они очень скоро!

Эти споры усугубляет смешанный национальный состав многих территорий СССР. Депортации и добровольные перемещения, которые в Европе шли с конца XIX-го и до середины XX века и сопровождались грандиозными кровопролитиями, создали сеть государств, весьма однородных по национальному составу, одновременно наглядно показав цену и ценность мирных гарантированных границ. В этом — предпосылка внутренней стабильности и нормальных взаимоотношений этих стран, и достигнута эта предпосылка отнюдь не демократическим или правовым путем. В СССР же, можно сказать, эти проблемы были на семьдесят лет заморожены.

Никто не может предсказать будущее решение, например, спора родственных друг другу башкир и татар — тюркоязычных мусульман, живущих между Волгой и Уралом, причем в Башкирии — татар едва ли не больше, чем башкир! А как скажется то, что обе республики — Башкирия и Татария — анклавы в России (и потому имеют второразрядный статус «автономных», а не союзных)? Что будет в среднеазиатском Узбекистане, где прежние центры цивилизации Бухара и Самарканд населены в основном таджиками (близки персам по языку, но отличны от них формой ислама), а деревни вокруг — узбеками-тюрками? Как может поступить

народ, давший официальное имя своей республике, но находящийся там в меньшинстве (как абхазцы в Абхазии с грузинским большинством)? И что делать, если меньшинством народ стал буквально в последние десятилетия в результате ускоренного заселения переселенцами, прежде всего русскими (как случилось в Латвии)? Как поступить, если национальное деление совпадает с профессиональным и социальным (так, население столиц большинства республик и рабочие крупнейших заводов — чаще всего русские)?

Все эти вопросы просто не могут не получить какого-то разрешения. Какое оно будет — во многом дело случая, и кому достанется спорная территория — можно только гадать.

Больно и трудно об этом говорить, но думается, что массовых перемещений людей не избежать. Примеры уже есть. За два года армяно-азербайджанского конфликта полумиллионный поток беженцев в обе стороны сделал Армению свободной от азербайджанцев (очень близких к туркам, но исповедующих иной толк ислама), а Азербайджан — отверг армян-горожан. Причем уже никто не ставит под сомнение окончательность этих переселений. Размежевание не произошло только на территории спорной Нагорно-Карабахской автономной области — и то только потому, что этому препятствовало вооруженное вмешательство Москвы, тем самым не ослабляющей, а сохраняющей напряженность.

Когда говорят, что уйди Россия с Кавказа, — и там будет новый Ливан, то ставят все с ног на голову. Ливан — это конфликт наций, сдерживаемых внешним давлением, которым не дают возможности окончательно размежеваться. Ливан на Кавказе — это настоящее, а не будущее. Вспомним, что следствием греко-

турецких войн стало перемещение в двадцатых годах нескольких миллионов человек между этими странами — но этим заложен был фундамент их мирного сосуществования...

Москва ничего не делает для облегчения этих неизбежных перемещений. Вместо организованных переселений — погромы и беженцы... Уже обыденными стали попытки Москвы «разделять и властвовать» путем возбуждения, например, абхазцев и осетин против грузин, поляков и белорусов против литовцев, русских — против всех народов страны.

Важное следствие национальных конфликтов второго уровня — это невозможность для освобождающихся народов создать эффективный единый антиимперский фронт, что ослабляет их борьбу, но одновременно усугубляет общий хаос в стране.

Говоря о втором уровне национального вопроса в СССР, надо сказать хоть несколько слов о том, что национальное самосознание многих народов СССР еще только складывается. Ведь нация — это не только единство языка, религии, истории. Нация — это способность людей считать друг друга равными себе, способность к созданию единого государства. И только опыт истории покажет, например, как сложится судьба украинцев — объединятся ли они как, скажем, немцы в XIX веке, вопреки расколу религиозному и историческому (на западе Украины — грекокатолики, верные римской церкви, бывшие подданные Габсбургов и Польши, на востоке — православные, с XVII века под короной Романовых), либо разойдутся, как сербы и хорваты.

Неизвестно, какова будет судьба внешних границ СССР, проведенных когда-то царскими генералами по живому телу народов. Эти границы отдают румын Молдавии от своих

братьев в Румынии, они произвольно разделяют азербайджанцев СССР и Ирана, таджиков СССР и Афганистана. Очень вероятны претензии к Турции со стороны Армении и Грузии. Скажем откровенно: неизбежный, по нашему мнению, распад СССР приведет к значительным изменениям политической карты всей Передней и Средней Азии. Можно рассуждать о том, какие это будут изменения, но закрывать глаза на их неизбежность — преступная близорукость для политиков.

РУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ? ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!

Наконец, третий уровень национальной проблематики в СССР — это национальная проблема самих русских. Мы убеждены, что это и есть коренной, исходный пункт всех советских проблем. Вопрос этот слишком обширен и поразительно неразработан.

Трагический парадокс — это **отсутствие сложившейся русской нации**. Великая русская культура, богатейший язык, древняя славная история народа — это все еще только предпосылки создания современной нации. В деле национальной консолидации Россия лет на сто отстает от Италии и Германии, лет на пятьдесят — от Турции. Наше время — это время распада имперского сознания русского народа и время становления сознания национального.

Сохранение единства империи перестает уже быть самодовлеющей задачей для русских — но не для партийно-государственного руководства. Ведь для них, для всех этих ЦК, КГБ, Совминов, генералов и т. д. единство страны — главная цель, стоящая бесконечно выше всех «социализмов» и «общественных собственности».

Ведь только тем, по нашему мнению, и можно объяснить временную (несколько десятков лет — не срок для истории) победу большевизма, что он сделал универсальную всемирно-социалистическую идеологию обоснованием нового объединения империи, которую уже не могла удерживать примитивная идея прямого превосходства русских и православных в империи. Советский «социализм» с его иррациональной экономикой был всего лишь растянутой предсмертной судорогой Российской империи. Эту судорогу можно сравнить с фактической смертью Священной Римской империи в Тридцатилетней войне XVII века.

«Социализм» — это чисто российское явление, форма национального кризиса, как нацизм был кризисом германским. Видно, как рассыпается в прах вся пирамида социалистической власти, как буквально испаряются правящие недавно компартии везде, откуда уходит влияние России, — будь то Румыния, Польша, Эстония, Грузия... И только в среде русских, в России, царит смятение в умах. России как цели, как символа национальной идентификации еще нет. Все интеллигентские попытки патриотических движений в России, за отсутствием массовой опоры, вырождаются в уродливые секты типа общества «Память». И само это общество — миф, фикция: существуют только разрозненные и озлобленные группки, мгновенно скатывающиеся к маниакальной ксенофобии, к апологетике самой грубой формы империи, к союзу с КГБ, военщиной и реакционной частью КПСС.

Ведь лучший признак нации, хотя бы и угнетенной, — наличие общена-

циональных политических партий, движений, организаций, лидеров. В России их нет начисто. Это наглядно показали выборы 1989 и 1990 годов, в которых ярко проявилась непартийность, не-единство российского общества, на которых депутаты избирались не по партийной принадлежности, а по внеполитическим личным заслугам, по чисто негативной враждебности к существующему строю. Общенациональные движения и авторитеты существуют везде в СССР, от Эстонии до Азербайджана, но не в самой России.

Идейный тупик, отсутствие общенациональных идеалов, крушение имперской идеологии социализма, полный упадок православной церкви — вот черты русского национального кризиса. Только падение империи, только распад СССР поставят перед Россией реальную живую задачу выбора пути к национальной консолидации. Как турецкая нация родилась только после того, как арабы, греки, албанцы и другие противопоставили себя Османской империи, так и Россия, будем надеяться, родится как своего рода «остаток» после вычитания всего не-русского из Советской империи.

Если Турцию, Германию, Японию на новый национальный не-имперский путь вывело внешнее поражение, потребовавшее внутреннего возрождения, то подлинный друг или патриот России должен надеяться на возможно более скорое внутреннее поражение Российской империи, на освобождение русского народа от цепей, которыми он приковал к себе соседние народы, на пробуждение после самого кошмарного сна в истории...

ИМПЕРИЯ — ЭТО ЛЮДИ

ОБЩИЙ ДОМ И НЕОПЛЕМЕННОЕ СОЗНАНИЕ

Гасан ГУСЕЙНОВ,
Денис ДРАГУНСКИЙ,
Вадим ЦЫМБУРСКИЙ

Связь между внутренним кризисом и ростом внешнеполитического престижа СССР парадоксальна.

Зашаталась вся иерархия национальных территорий, на которых основывалось государственное устройство СССР: меньшинства жаждут автономий, автономии хотят равноправия с союзными республиками, союзные же помышляют прожить без Союза (рекорд пока — за Нахичеванской АССР, попытавшейся отпасть сразу и от Азербайджана, и от СССР!) Внутренние тревобления дополняются и стимулируются самоликвидацией «наружного бастиона» социалистического лагеря в Восточной Европе. Не пора ли и впрямь говорить о конце «последней империи»? Не скрывается ли за небывалыми симпатиями Запада к СССР и его руководству чувство облегчения и надежды, что Советы наконец-то освободят демократический мир от своего геостратегического присутствия, замешанного на идеологических претензиях?

Здравый смысл отвечает: так, да не так. Разлад во вражьем стане может быть поводом для злорадства, но не прибавляет симпатий к недругу. Между тем, руководство «распадающейся империи» набирает очки в международной сфере, и заинтересованность Запада в добрых отношениях с Москвой пока опережает его охоту потакать какой-либо из «самоопределяющихся» республик.

Оценка западным сообществом конкретных шагов того или иного режима во многом определяется тем, насколько для этого сообщества бывают понятны и приемлемы принципиальные ценности, которыми данный режим руководствуется. Когда режим в целом глубоко приемлем для сообщества, оно терпимо относится даже к таким экстремальным его акциям, как американский налет на Ливию при Рейгане. И подход Запада к советскому «имперству» на самом деле неотделим от вопроса о наших ценностях, более того — прямо ему подчинен.

Поэтому, говоря о соотношении между внутренним кризисом и новым статусом, который наше государство сейчас начинает приобретать в глазах Запада, вероятно, уместно ответить на следующие вопросы:

1. Как именно «имперство», с одной стороны, и лезущее изо всех щелей «отрицание имперства», с другой, соотносятся с ценностями нынешней западной цивилизации?

2. Какие конкретно сдвиги в ценностных ориентациях нашего общества, сопровождающие кризис, сделали СССР более привлекательным для западных демократий? Те ли это сдвиги, что отражают «распад империи», или речь идет о явлениях другого рода?

3. Должна ли происходящая трансформация ценностей и далее автоматически

работать на наше сближение с развитыми государствами? Или наметившиеся тенденции неоднозначны, а некоторые из них в своем полном выявлении способны завести нас в тупик куда более мрачный, чем уже известные нам по опыту?

4. Как имперское прошлое нашей страны может повлиять на выбор, перед которым ее народы оказываются в современном мире?

ТРАЙБЫ ПРОТИВ НОРМ

Попробуем разобраться в том, что же такое империя, отстраняясь от радикальных агиток на тему Сталина, Брежнева и черной сотни, — чем, претендуя на «левизну», и нам недолго одарить читателя. Рассмотрим, однако, идею империи как таковую, в чистом виде.

Начнем с примера. Созданная в 1871 году Германская империя сперва не включала никаких иноплеменных территорий, кроме района Польши, однако сложилась из 25 королевств, княжеств и вольных городов, которые сохранили определенную автономию, передав имперскому правительству основные вопросы экономики, внешней и военной политики и признав имперское германское законодательство.

Империя создается соотношением между традициями, ценностями, установками входящих в нее исторических — территориальных, этнических и т. п. — групп и той общей системой политических и правовых норм, в которую интегрируются эти группы, лишаясь суверенности. Причем само слово «империя» (от латинского *imperium* — «власть») указывает, что в основе интеграции лежит подчинение этих групп единой власти, от которой исходят указанные нормы. В Германской империи такой силой была Пруссия.

В многонациональных империях этносы выступают как важнейшая разновидность подобных, связанных общими ценностями, групп, где каждый член группы для другого члена — «свой», а не принадлежащий к группе — «чужак». Такие группы мы называем «трайбами» (от английского

tribe — «племя», «клан», «компания»).

История знает разные типы отношений между империями и входящими в них этническими трайбами. Были империи, навязывающие своим подданным культуру носителей власти; в других — победители принимали культуру побежденных; бывали империи, старавшиеся — из уважения к чужим обычаям — не посягать даже на откровенно варварские местные пережитки. Но неизменным остается одно: сосуществование представителей многих этносов в единой системе власти и закона.

Империя, утверждающая себя именно как империю, неизбежно несет в себе «свое иное» — множество трайбов с их ценностями, провозглашая высшей, собственно имперской ценностью соблюдение членами этих трайбов одних и тех же норм. Рим, терпимый к самым разным религиям и культурам, бросал христиан львам за отвержение норм, обязательных для подданных империи. Излюбленная идея любой имперской пропаганды — это обретение каждым народом подобающего места в едином космосе государства.

Отсюда ясно, что идея империи лежит по ту сторону различия в способах правления и тем более не имеет никакого отношения к вопросу о правах отдельного человека. Россия до 1917 года была империей, СССР сохранил многие важнейшие черты империи, но точно так же и США могут быть названы империей, и маленькая четырехязычная Швейцария обладает всеми имперскими признаками: не случайно ее правительство в 1847 году сурово подавило попытку католических кантонов создать отдельное государство, противопоставить свои ценности общешвейцарским нормам.

Вот через этот основной принцип — общность определенных норм, стоящая выше многообразия отдельных ценностей и обеспеченная военной, экономической и иной силой, — империя не переступит, пока она остается таковой.

Нормы могут и часто даже должны глупо дифференцироваться применительно к различным регионам и трайбам (и в Римской империи британцы жили не так, как египтяне). Но в условиях империи сама согласованная дифференциация норм направлена на лучшее приспособление отдельных трайбов с их спецификой к жизни структуры в целом, всех ее членов. В таких

условиях империя до поры до времени оказывается наиболее закономерной формой государственности, единственной альтернативой рассыпанию ареала на массу крохотных и обычно все равно полиэтничных «княжеств».

Острота и болезненность пост-имперского перехода в том, что, выламываясь из имперской структуры, трайб вынужден либо воспроизвести ее на своем уровне, либо найти себе нового «хозяина», не говоря уже о реальной возможности форсированной деградации, легко достижимой встречными усилиями трайбалистских радикалов и имперских консерваторов.

Перед любой империей в условиях, подобных современным, открываются два возможных направления эволюции. **Первый путь**, на который ее обычно сталкивают внутренние кризисы, — это путь сплошной трайбализации всех и вся, когда каждый трайб, этнический, территориальный, вероисповедный, рвется вон из существующей системы связи, объявляя себя сувереном на своей территории, попирая во славу своих ценностей имперские нормы, отторгая и изгоняя «инородцев», «иноверцев», а также несогласных с подобным курсом диссидентов из собственной среды.

Для человека с имперским сознанием государство, где он живет, — это прообраз всего мира, который также состоит из массы народов, вынужденных в общении между собой исходить прежде всего из расстановки сил, порою поступаясь своими ценностями ради соблюдения «правил игры».

Для любого трайбалиста и, в частности, для национал-трайбалиста «свой», резко суженный, светлый и приятный круг противопоставлен чуждому и сомнительному окружению. В этом светлом круге трайбалиста свои нормы, основанные на собственных, сепаратных ценностях. Лозунг трайбализма: «Пусть чужие меня не приемлют, лишь бы и сами мне не навязывались». Это — принцип Чауеску, который, отвергая «общеевропейский дом», предлагая взамен «свой дом для каждого народа в Европе». Тот же самый образ — национальные коттеджи вместо общежития — употребил в начале 1990 года один из литовских оппонентов Горбачева. Примечательно, что в обоих случаях к образу

«своего дома» обращаются представители народов, живущих на одной земле с весьма значительными по численности этническими меньшинствами, едва ли получающими удовольствие от додумывания до конца метафоры «семья», где им навсегда уготована роль приехавших погостить родственников жены. Главная идея трайбалиста, за которую он готов биться до изнеможения, это чтобы в «своем» круге было поменьше инородного, чужого, «замутняющего истоки».

Империя несет в себе «свое иное», трайбализм его отторгает.

Существуют типы империй, особенно тяготеющие к трайбалистскому перерождению. Один из них — это полиэтничские империи, которые, однако, тщетно пытаются придать себе признаки национальных государств того или иного политического лидирующего этноса. Следствием оказываются попытки ассимилировать или изгнать другие народы, что приводит лишь к яростным контратакам со стороны притесняемых. Кончается это тем, что значительная часть формально главенствующего этноса проникается болезненно-трайбалистской психологией, чувствуя себя «в осаде» и осознавая, что государство, где данный этнос проживает, не является только его государством и, главное, никогда не станет таковым. Примером может быть положение австрийцев в Австро-Венгрии, породившее в их среде невероятные для этноса-лидера мечты о поглощении австрийских земель Германией.

Другой кризисный для империи вариант бывает связан с ее заидеологизированностью, со склонностью ее правителей и духовных вождей трактовать ее как остров праведности среди порочного мира — агрессивный «супертрайб», внешним признаком которого оказывается пустая растрата ресурсов на сверхценные идеи. Иллюстрацией такого варианта может быть путь Испании в XV—XVIII веках — огромной ультракатолической монархии, ведущей вечные войны как с неверными и еретиками-протестантами, так и с католическими государствами, ставшими помехой в ее благочестивых планах, — погрязавшей в охоте на скрытых иноверцев и ведьм, конфликтующей с папами в желании быть святее Рима, — и, наконец, деградирующей до уровня второстепенного государства с сильными изоляционист-

скими тенденциями.

В то же время в нынешнем мире перед государством имперского типа открывается и **другой эволюционный путь**, ведущий к такому политическому устройству, которое мы могли бы назвать пост-имперским и приближение к которому с 50-х годов прослеживается на Западе.

Это такое устройство, где понятия суверенитета и границ постепенно становятся все более формальными, а уважение сложившихся норм всеми режимами ставится гораздо выше ценности суверенного своенравия. Границы в Западной Европе сейчас гарантируются фактически не силой, а консенсусом. Такому устройству соответствует глубоко космополитическое пост-имперское сознание, где на место «государства, подобного целому миру», ставится «мир, подобный одному государству».

Если в любом конце империи ее подданный, прибывший из другого ее конца, знает, что и на новом месте его права и обязанности определены единой системой норм и правил, действующих на всем имперском пространстве, то для пост-имперского человека нормы, обеспечивающие ему «высокогуманизированный» стандарт жизни у него на родине, не кончаются за ее границей. На всем протяжении пост-имперского сообщества он огражден этими нормами. Но из этого следует встречный вывод: если я хочу себя спокойно чувствовать вне моей родины, значит и каждый гражданин другой страны должен себя так же спокойно чувствовать, ступив на мою родную землю. Нормы страны, входящей в пост-имперскую систему, не могут диктоваться одними лишь ценностями местных уроженцев, они должны отвечать все тому же «стандарту всеобщей приемлемости». Терпимость пост-имперского мира к различным ценностям, не противоречащим единству норм, создает почву для согласования и конвергенции этих ценностей.

Это относится и к государствам, на территории которых проживают сепаратистски настроенные меньшинства. Консенсус демократических режимов, их тяга к интеграции резко уменьшают шансы таких меньшинств по сравнению с эпохами своекорыстного соперничества наций, когда государства, стремясь нанести ущерб соседям-недругам, могли поддерживать

сепаратистские трайбы в их тылу. Сплочение стран Западной Европы в пост-имперское содружество — это, помимо прочего, их сплочение против движений, способных подрвать целостность каждой из этих стран по отдельности.

«РУССКАЯ РОССИЯ» ПРОТИВ РОССИИ НАРОДОВ

Попробуем соотнести эти общие соображения с конкретной судьбой Российской империи и СССР как ее преемника. Сейчас, когда «почвенники» атакуют «руссофобов», а левые — «шовинистов», причем и те, и другие обрушиваются на империю, мы вполне осознаем риск — угодить сразу и в «великодержавцы», и в «руссофобы». И тем не менее: Российская империя, за вычетом Финляндии и основной части Польши, складывалась путем слияния этнически крайне диффузных ареалов, для которых политическое членение практически **никогда** не совпадало с этнокультурным размежеванием.

Если ставить модную ныне проблему приоритета Союза над республиками или республик над Союзом в историческом плане, ответ будет таков: **исходный реальностью является сама совокупность охваченных Союзом ССР территорий и населяющих их людей, принадлежащих к большим и малым народам. Эта реальность первична по отношению к любым способам членения данного пространства, включая и тот, который был принят за основу в 20—30-е годы.** Для данных ареалов формирование империй представляет процесс естественный и неизбежно являвшийся в их истории то Великим княжеством Литовским, то царством Давида Строителя, то новгородскими владениями от Финляндии до Урала. В общем, тот же характер эти территории сохранили и до сих пор, поэтому безболезненное возникновение на них полноценных национальных государств нам представляется невероятным.

И поэтому суть кризиса Российской империи и СССР не в имперстве как таковом. Несчастьем Российской империи и Союза ССР мы считаем то, что в их истории предельно обнажены обе рассмотренные выше разрушительные тенденции. С одной стороны, иссушающая заидеологизи-

рованность (ideocracy) государственной мысли, заикленной на внежизненных сверхценных идеях («социалистический выбор» и т. п.), а с другой стороны, бесплодный национализм официально главенствующего этноса, попытки отождествить Россию ста народов с государством русских и мучительные стрессы из-за естественного провала этих попыток.

На европоцентристской карте мира Российская империя выглядит несоразмерно огромным периферийным довеском Европы, протянувшимся в азиатские просторы на глубину, сравнимую со всей остальной площадью европейского материка. Со второй четверти XIX века, по мере упрочения нового, евро-азиато-американского образа мира в геополитических моделях Запада, Россия обретает новое качество: она оказывается «сердцем земли», континентальным ядром Старого Света, противостоящим его океанической периферии (западноевропейские страны с их колониями, Япония, Китай) и еще более внешней, как бы островной полосе Нового Света. При этом Россия по-прежнему противопоставит как Европе, так и азиатскому Востоку, но смысл оппозиции оказывается иным: придаток Европы превращается в сердцевину Евразийского массива, на краю которого мы видим страны западноевропейской цивилизации.

Так вот, это все — не Россия русских, это — **Россия народов**.

Однако все эти реальные предпосылки для превращения России в «континентальную Америку», огромный «остров среди суши» оказались неблагоприятно подкреплены историческими обстоятельствами. Конфессиональное противостояние православного Московского царства как мусульманскому Востоку, так и католическому Западу было реальной «матрицей» для образа «Святой Руси» как оплота ортодоксии среди отступников и неверных.

В начале XVIII века резкий поворот «лицом к западу» сталкивает в сознании верхов эту изоляционистскую гордыню с новой идеей реального отставания от «грешной» Европы. Комплекс превосходства срачивается с комплексом неполноценности. На этой основе складывается, подкрепляясь внешнеполитическими успехами XVIII — начала XIX веков, экзотическая концепция «отъединенной грандиозности», «богоизбранности на отшибе»,

которая может быть сведена к формуле: «Россия по сути вне Европы, но именно поэтому (!) должна сыграть уникальную роль в судьбах Европы и во всем мироустройстве».

Очень многие идейные течения, возникшие в России (вплоть до троцкизма!), могут рассматриваться как различные попытки рационализации данной формулы. Вспомним хотя бы исключительно важные для истории нашей общественной жизни 1830—1850-е годы. Что за доктрины сталкиваются и непримиримо противостоят в это время?

Во-первых, официальная имперская идеология, отводящая России роль оплота «священных принципов» легитимизма, монархически трактуемой законности с моральным правом вмешательства в дела соседних государств.

Во-вторых, славянофильское учение об обреченности Запада и единственно истинном историческом пути, открытом перед православной Россией.

В-третьих, проповедь Чаадаева, в которой мнимая бессмысленность всей предыдущей русской истории навязчиво акцентируется с одной-единственной целью — изобразить Россию страной, пребывающей вне повседневного исторического процесса и вторгающейся в него лишь «в минуты роковые», дабы преподать миру великие уроки.

При всей несовместимости этих позиций в них проскальзывает нечто общее: трактовка России как автономной спонтанной силы, не судимой по общим нормам («аршином общим не измерить»), но призванной учить человечество и являть чуда («в Россию можно только верить»). В конечном счете, в основу всех этих рационализаций идеи «богоизбранности на отшибе» положена одна и та же посылка о том, что **носитель высших ценностей может стоять вне повседневных норм**.

Мудрено ли, что на Западе Россия была исключительно рано воспринята в качестве страны, которая, притязая на малопомянутые ценности, не желает вписываться в повседневные нормы, что делает ее политику непредсказуемой. Услугами России пользовались, не чувствуя благодарности, и при каждом удобном случае консолидировались, дабы вовремя обуздать силу, которую «умом не понять». Так было и в 1814 году, когда Александр I, полагая себя

спасателем Европы от Наполеона, едва не развязал войну против всех великих государств континента, не пожелавших «в знак признательности» отдать ему Польшу (хотя большинство европейских правительств при малейшем благоразумии со стороны Наполеона предпочли бы договориться с ним, чем видеть казаков в Париже). Так было и сто лет спустя, в 1917 году, когда государства-союзники санкционировали падение Миллюкова, ставившего участию России в мировой войне конкретную цель — выход в Средиземное море, — и поддержали Керенского, готового воевать бескорыстно и бесконечно.

Особое отношение к России на Западе, перенесенное на СССР, никак не связано с нашим имперством: к Британской империи относились совсем иначе! Дело в сверхценных идеях, непрестанно побуждавших российское правительство ставить ценности выше норм, — от навязывания себя Европе в бесплатные жандармы до позывов «весь мир насилья разрушить» (под первую идею вламывались в Венгрию в 1849 году, под вторую — повторно в 1956). Этот принцип неизменно заводил нашу страну в самые дикие тупики ее истории, когда в Россию действительно оставалось «только верить». Отсюда и повышенная чувствительность Запада к внешнеполитическому курсу Горбачева, когда под именем «общечеловеческих ценностей» утверждается, по сути, главенство норм.

Картина еще больше осложняется с последней четверти прошлого века подъемом русского национал-трайбализма, очень быстро принявшего форму общеизвестного черносотенства. Разумеется, эпоха индустриального роста по общей закономерности должна была вызвать политизацию крупных этносов. Национальные движения в это время активизируются повсеместно. Но что не может не поражать — так это спазмы национальной несытости у самого многочисленного и официально доминирующего в империи этноса.

Противопоставление «имперского духа» «духу русско-национальному» имеет под собой определенную реальность. Правительственные сферы Российской империи относительно поздно были затронуты черносотенным приливом, по-новому окра-

сившим имперскую догматику. С другой стороны, сейчас бытовая русский национал-трайбалист вовсе не «имперец», каким был англичанин в Индии или француз в Индокитае.

Национал-большевистское скрещение почвенного черносотенства с советским имперством конца 40-х годов не кажется нам сегодня определяющим в низовом национализме.

Среднего русского национал-трайбалиста отпадение Прибалтики волнует куда меньше, нежели изобилие в его окружении неявных «сионистов» или приток на российские улицы «черномазых». Русский национал-трайбалист — это человек, уже минимум 110 лет живущий с психологией представителя угнетаемого малого народа, оформившейся из-за принципиальной невозможности для России стать национальным «государством русских», как Латвии никогда не стать государством латышей, а Молдове — государством молдаван. Он одержим страхом потерять себя из-за невозможности изжить «чуждые элементы» в России, как эстонский трайбалист не властен одолеть их в Эстонии.

«Русская национальная идея», взятая как идея культурно-созидательная, заслуживает приветствия, не менее, чем аналогичные ей — белорусская, грузинская, нивхская, юкагирская... Если же «русскую идею» брать как идею политическую, надо сказать определенно: для земли вроде нашей империя — не обязательно в таком виде, как получилось, — была неизбежностью, а «Россия русских» и была и осталась абсурдом. Если бы сейчас РСФСР вышла из Союза и отделила, как бантустаны, все свои автономии, по составу своего населения она все равно оставалась бы империей. Тот же оптимально тяготеющий к имперскому этнический расклад будет воспроизводиться и при обособлении подавляющего большинства так называемых «суверенных национальных территорий».

Союз в целом, со всем накопленным в нем потенциалом агрессивности, может выбирать только между трайбализацией всего и вся, «распадом на молекулы» — и империей. Конкретная же форма последней, вплоть до «мягкой конфедерации», будет зависеть от баланса многих интересов и сил.

ДЕМОКРАТИЯ СЕВЕРА

Процесс трайбализации един: трайбализм черносотенно-русский, прибалтийский, закавказский, среднеазиатский — метастазы одного недуга. Размежевание того, что не может быть размежевано без резни по-живому, нельзя остановить на полпути. Где будет «Литва для литовцев», «Грузия для грузин», там будет и «Россия для русских», которая к тому же унаследует большую часть военного потенциала СССР.

Худшей чертою российского, а затем советского, имперства всегда было попираание норм ценностями — черта, роднящая такое имперство с самым крутым трайбализмом. Так неужели теперь нужно избрать трайбализм чистой воды, не желающий ничего знать, кроме того же самого принципа своих внезапно взрывающихся вековых чаяний? Немыслимо поддерживать национал-государственное самоопределение прибалтов и одновременно протестовать против вскипающего антисемитизма в России.

Невозможны полноценные суверенно-национальные государства на земле с населением, настолько этнически перемешанным, как у нас. Это означало бы скопление на краю Европы массы мелких и неустойчивых национально-региональных образований с несочетаемыми и непогашаемыми счетами друг к другу.

Для европейской политики «общего дома» это должно иметь весьма серьезные последствия: от бывших советских территорий волны трайбализма покатятся на Запад. Отслоение внешних пластов империи, подмораживавшей Европу с Востока, уже отлилось кровью в Трансильвании. Повторение литовского сценария в Молдавии, вместе с тотальной политизацией этнических и религиозных отношений на Украине неизбежно ведет к возникновению огромного днепровско-дунайского конфликтного очага. (Понятна нынешняя забота Курта Вальдхайма о довооружении Австрии.)

Не менее серьезны могут быть последствия успеха прибалтийских народных фронтов. Появление суверенной Литвы, желающей аннулировать для себя все последствия 1939—40 годов, однако удержав при этом Виленский край, северобелорус-

ские районы и Клайпеду, возбуждает для всего этого региона вопросы, в послевоенное время казавшиеся уже закрытыми. Сегодня особенно опасно, что эти вопросы затронут весь комплекс отношений между Польшей и объединенной Германией.

Дезинтеграция всей этой периферии СССР, превращающейся в большую периферию Европы, воскрепит к западу от нынешних советских границ проблемы и амбиции, характерные для версальской эпохи. Тем самым это будет способствовать подъему национал-трайбалистских, антиинтеграционных движений типа республиканцев в ФРГ, лепсеновцев во Франции, ультраправых в Италии.

Распадаясь, СССР будет невольно грозить Европе все новыми стимулами к повторной «версализации», отодвигая чаемый 1992 год — год объявленной европейской интеграции — куда-то за горизонты нынешнего столетия.

Европейская интеграция определяется не только экономическими связями, но и уровнем уже достигнутого политического консенсуса между ныне существующими государствами Европы и Северной Америки. Появление в кругу этих государств новых членов будет испытанием для достигнутого консенсуса. Вспомним, как пошатнуло его даже долговое объединение Германии. Симптоматично, что Р. Вейдеманин в таллиннской «Радуге» (2/90) иронизирует над финскими и шведскими консерваторами, которым в попытках переустройства Балтии видится дестабилизирующий фактор, грозящий благополучию их стран. При этом он ссылагается на утверждения западных журналистов и политиков, будто «общество благополучия на Западе во многом обязано тому, что Европа после войны была разделена именно так, а не иначе» (с. 71). Из этого делается, однако, странный вывод о моральном долге Запада из благодарности поддерживать национальные движения в СССР, стремящиеся подорвать статус-кво!

Если бы можно было уже сейчас до конца преодолеть противостояние Востока и Запада (в чем здравомыслящие люди в СССР не могут не чувствовать своей вины), то суть происходящих процессов раскрылась бы совсем по-иному. Это та ситуация, когда мертвый хватает живого: недоброй памяти Европа 30-х годов —

реальную Европу послехельсинкского времени.

Нерушимость послевоенных границ по Хельсинкскому соглашению, на наш взгляд, означает не только — как минимум! — что ни одно из государств, подписавших соглашение, не будет силой нарушать границы своих соседей, установленные в 1945 году, но и нечто большее, а именно: крайнюю нежелательность возникновения в Европе новых государств, рубежи которых в принципе не были бы определены послевоенным размежеванием.

Важнейшей гарантией поддержания статус-кво в Европе, без чего никакая интеграция невозможна, вероятно, был бы коллективный отказ участников Хельсинкского соглашения признать законным возникновение каких бы то ни было государств в этом регионе, кроме тех, которые уже существовали на момент подписания соглашения. С оговоркой, касающейся случаев добровольного объединения государств, не влияющего на границы с внешними соседями. Там, где границы — предмет для споров, не приходится говорить ни о какой интеграции.

Впрочем, мы вполне сознаем, что на подобную коллективную акцию сейчас рассчитывать очень трудно: она требует неизмеримо большей моральной близости и взаимопонимания между Востоком и Западом, чем сегодня. А между тем, это не только проблема СССР и Восточной Европы. Разве Англия не имеет своих шотландцев, Франция — корсиканцев, Испания — басков и каталонцев? Поддержка Литвы басками и итальянскими ультраправыми весьма симптоматична.

Предвидим возражение: как раз для сближения с Западом СССР и должен расстаться на мелкие суверенные государства, которые и будут иметь дело с Западом. Да-да, продолжим мы за оппонента, и превратиться как раз в то, чем сама Европа была в 30-е годы. А заодно мы утянем и ее в это же состояние.

Но есть ли другой путь, который не означал бы крушения всех надежд, возложенных на нас цивилизованным миром в последнее время? Это путь не назад к имперству, и не вперед — под откос к трайбализму. Это, если угодно, путь в сторону — в направлении к той, пост-имперской дороге, по которой Запад идет уже сорок лет и которая для СССР была так долго закрыта. Этот путь предполагает наше сближение с западными государствами в единую международную систему Демократического Севера, сплачиваемую общностью разделяемых ее членами ценностей и норм, конвергенцией политических структур на основе принципов многопартийной парламентской демократии, а также общей системы безопасности и растущей экономической близостью. При этом в ближайшее десятилетие стабильность границ служила бы гарантией именно против случайностей и зигзагов на пути консолидации. У нас еще нет опыта жизни в пост-имперском мире, но у нас есть наследие таких соотечественников, как Вл. Соловьев, В. Вернадский, Г. Федотов и др., провидевших черты этого мира задолго до того, как реальный Запад приобрел их.

Одно из двух: или трайбализация захлестнет нашу страну, а с нею и общеевропейский процесс, или Россия народов, пересилив недуг трайбализма — от русского до эстонского, — станет частью нового миропорядка, вместе с Соединенной Европой и Северной Америкой.

Подобно тому как Европа будет спасаться от полумифической-полуреальной «германской опасности» ускорением общеевропейской интеграции, Запад в целом должен спешить сохранить **империю** — **Россию народов**, пока она не успела превратиться в политический Чернобыль, грозящий всему пост-имперскому миру. Главное сейчас — чтобы процессы создания Демократического Севера опередили процесс внутреннего распада СССР.

НАРОД И ВЛАСТЬ

В БЕСЦЕНЗУРНОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ СЕМИДЕСЯТЫХ

Попытки построения институтов народовластия в СССР вновь оживили тему народа — некогда ключевую в российской мысли и литературе.

Как и сто лет назад, в современных спорах сталкиваются безудержно-народолюбивый оптимизм с мрачными приговорами, переходящими в демонстрацию страха перед «толпой». Однако за прошедшие сто лет уровень споров невероятно снизился, и чаще всего речь идет о журнальной перебранке. Поэтому нам хочется напомнить о сравнительно недавнем опыте изучения светлых и темных сторон народа в отечественной публицистике. Тема эта не только была одной из главных в Самиздате 70-х годов — она была острейшей для людей, от начала до конца правозащитного движения составлявших ничтожное меньшинство среди сограждан и не стремившихся стать большинством. Ее обдумывали, к ней возвращались...

Сегодня мы публикуем несколько материалов, выбранных почти наугад из независимого московского журнала «Поиски», выходившего на рубеже 70—80 годов в Самиздате. Это — заметка волжского художника-самоучки Михаила Зотова, неоднократно узника брежневских лагерей; отрывок из не напечатанной в СССР книги блистательного публициста Аркадия Белинкова (одного из немногих, страх перед кем препятствует его публикациям до сих пор, и в эпоху гласности); и писателя Георгия Владимова. С их словами можно соглашаться или нет. Несомненно одно: каждый из них — часть того народа, о котором говорит один из его голосов, одно из его лиц.

Подспудный жар

Михаил ЗОТОВ

Сотрудник МГБ во время моего допроса 13 сентября 1978 года, указав на изъятые у меня самиздатские

«Бюллетени по Проекту новой Конституции СССР», с презрением бросил:

— Что диссиденты? Народ за ними не пошел. А без народа они — ничто!

— Дайте диссидентам трибуну, и тогда можно будет сказать, пошел или нет.

И я, и он под словом «народ» разумели тех, кто под неусыпным оком партии производит материальные ценности и выращивает хлеб. Недовольство народа недостатком продуктов, низкой зарплатой, повышением цен, ограничением свобод — загнано внутрь, обречено на молчание. Власти считают такое положение нормальным, забывая, что возмущение, лишенное возможности излиться хотя бы устно, подобно нарыву, готовому прорваться вмиг — в самом страшном виде.

Об одном таком прорыве я и расскажу. Мне хочется показать, насколько методы диссидентов, построенные на принципе обычной критики отклонений советской системы от правовых норм, ЗДОРОВЕЕ положения, при котором все обречено на молчание. Несколько таких взрывов, прорвавшихся в Темиртау, Новочеркасске и др., стали известны. Мой же рассказ — о нарыве, лопнувшем в Тольяттинских исправительно-трудовых лагерях в 1970 году.

1969 год. Агитпроп закликает всех в стране «достойно встретить» приближающийся юбилей — столетие со дня рождения Ленина. 22 апреля 1970 года — черта своеобразного финиша, достижение которого должно быть отмечено каждым и всеми. Повсюду принимаются повышенные сообразительности. Каждый обязуется «трудиться так, как не трудился еще никогда».

Напрягая свои силы, все надеются и на взаимность правительства — уж оно постарается отличить эту дату чем-то значительным и радостным. Одни ждут снижения цен, другие — увеличения продолжительности отпусков, третьи... Третьи ждали амни-

стии. И особенно ее ждали заключенные.

Наконец настал долгожданный день! Парадные речи, декларации, бурные аплодисменты, и... все. Никакой амнистии.

Население лагерей замерло, оно не хотело верить, что мечта, еще вчера наполнявшая их «сроки» смыслом, улетучилась.

Я, живший долгие годы по соседству с лагерями УР 65/16 и УР 65/7 (их называли «семерка» и «шестнадцатый»), имея много знакомых среди бесконвойников, — не узнавал их. Еще недавно веселые, полные надежд, они вдруг поблекли, сникли, насупились. Но не все. Если приходилось встречаться на дороге с проходящими под конвоем лагерниками, в глазах многих из них можно было заметить злобные огоньки. Наконец, в ночь на 22 мая, ровно месяц спустя после обманчивой даты, эти огоньки переросли в пламя...

...Они вспыхивали один за другим, эти гигантские гробы. В небо ночи завивались багряные языки пламени и вскоре слились в единое полотнище бушующего огня. Торжествующий вопль из сотен глоток — словно аккомпанемент разнуздавшейся стихии, сотряс ночь на многие километры вокруг:

— Семерка-а! Поддержи-и!

И эхо этого призыва загло бабеки «семерки».

Оба лагеря захлебнулись в желтобагряном мареве, и мгновениями казалось, будто весь мир потонет в этом океане всеуничтожения. Ночь стала походить на предтечу той, будущей, что еще отголосит адом над всей Россией...

Море огня. Выкрики. Торжествующий вой восставших. Выскочившие на улицу жители ближних поселков: стены их домов вот-вот вспыхнут. (Только безветрие спасло их от унич-

тожения, так же, как и окружающий лес.)

Лагерь бушевали. Промзона, со сложными там сотнями кубометров пиломатериала, с машинами и пилорамой, отгороженная от «шестнадцатого» высоким забором, рядами колючей проволоки, вышками, яростно отбивала попытки эков втянуть ее в общую оргию. То в одном, то в другом месте, перемахнув через ограждения, падала на штабеля очередная бутылка с горючим и взмывала костром, но «козлы» (лагерные дружинники из эков), орудя брандспойтами, сбивали пламя.

Пока шла атака на промзону, группа эков «семерки» овладела оказавшимся зачем-то в жилой зоне трактором. Его завели и направили в сторону «шестнадцатого». Неуправляемый трактор, с ревом сметая на своем пути ряды колючей проволоки («запретки»), врзался в забор, подминая под себя столбы и доски. Обливаемый пулями автоматчиков с вышек, он ворвался в жилую зону «шестнадцатого». Им тут же овладели эки, развернули и вновь пустили за запретку. На «семерке» трактор вспыхнул и умолк. Но дело было сделано.

Через многометровый проход, объединяющий оба лагеря, в «семерку» ринулась толпа. Большинству «козлов» удалось ускользнуть за вахту — охрана пропустила и прикрыла их. Некоторых, однако, схватили восставшие: кого избili, кого сразу убили, кого бросили в пламя. Ночь огласилась душераздирающими воплями...

Между тем в ночном, освещенном высоким пламенем небе, появился вертолет. К восставшим лагерям подкатывали грузовики и бронетранспортеры. Солдаты стремительно окружали лагерь плотным кольцом. На пригорках, под тревожно окрашенными отблесками пожаров соснами, устанавливали пулеметы. Как

стало известно позже, ждали только приказа из Москвы. И приказ прибыл — стрелять только по тем, кто попытается бежать.

Восставшие понимали свое положение, и попыток к побегу не было, а это в свою очередь лишало солдат возможности «порезвиться».


Прибывшие вслед за солдатами пожарники, под прикрытием автоматчиков, направили свои машины в «шестнадцатый». Но эки тут же порубили пожарные шланги, и те вынуждены были вернуться назад. Зато начальник «шестнадцатого» пренебрег благоразумием — и поплатился. Пройдя в зону, он обратился с призывом прекратить бунт, но был схвачен и избит до потери сознания.

Пример начальника «шестнадцатого» говорил о многом: в зоне бесновалась вырвавшаяся из-под страха вечно занесенной плети, на миг почувствовавшая себя могущественной «воля народа». В те мгновения ее можно было убить, но не уговорить. В волчьих глазах ночи, в сполохах пламени, как эхо, клокотал и бился неподвластный времени и законам русский бунт. Он улегся, когда заголубевшее утро придавило утомленные языки пламени к пышущим курганам золы — всего, что осталось от лагерных барачков.

И тогда началась расправа.

Лишенные своих единственных союзников — покрова ночи и устрашающих охрану костров, словно на обычном лагерном разводе, стеклись заключенные к вахтам. Покорно строились в колонны, подходили к распахнутым воротам.

Их выводили пятерками. Каждую очередную пятерку, вышедшую за ворота, останавливали, окружали автоматчиками: она осматривалась «козлами». Те ходили вдоль строя, внимательно вглядывались в лица, выискивая активистов бунта. Как только очередной активист был обнаружен,



его выводили из строя, и, подгоняя автоматами, вели к расположенному метрах в шестидесяти забору. Заводили за плотные доски, скрывая происходящее здесь от посторонних глаз. Здесь стояло несколько «воронков», перед которыми ждала свою очередную жертву большая группа офицеров охраны.

Эку приказывали раздеться догола. После этого его заталкивали в круг офицеров, и начиналось избивание. Обнаженного человека били чем и куда попало. Сокрушив наземь, топтали ногами. И лишь после такой «обработки» бросали в «воронки».

Остальных, не попавших в число активистов, автоматчики уводили на дно широкого котлована, приказав усаживаться вплотную друг к другу и не шевелиться. По верхнему краю котлована стояли автоматчики с со-

баками — знакомая картина из военных фильмов. Сортировка заключенных продолжалась много часов.

Тем временем прошли слухи о поджогах лагерей и в других местах. Рассказывали о неудавшейся попытке поджога в лагере и поселке «Управленческий» (под г. Куйбышевым). Неделями позже вспыхнул лагерь у станции Кряж. Власти поняли, что надо что-то предпринимать, иначе волнения, как цепная реакция, могут захватить значительную часть ГУЛАГа.

И они уступили. Амнистия явилась! Куца, но все же амнистия. Лишь после администрация назвала имена расстрелянных активистов восстания. Но дело не в именах, а в подспудной темной силе, дремлющей в глубинах подневольщины.

Тех, кто меня уничтожит...

Аркадий БЕЛИНКОВ

Характерной чертой идеологии уходящей эпохи является бесплодная, бесплотная надежда на возможные просчеты в историческом законе. Это иллюзии людей завершающихся эпох.

Это невыдуманная тема в русской литературе. Она возникала во все революционные эпохи. Брюсовские «Грядущие гунны», написанные в 1905 году, заканчиваются такими стихами:

Но вас, кто меня уничтожит,
Встречаю приветственным гимном.
Всякий раз, когда возникают сомнения в фатальной прогрессивности новой эпохи, идущей на смену старой, подвергается удобная аналогия, с кажущейся легкостью разрешающая мучительные сомнения. В таких случаях охотно вспоминают, как в Риме эпохи раннего христианства люди с законченным высшим образованием испуганно и гадливо смотрели

ли на нечесанных христиан, уничтожавших великую античную культуру. Прошли века, и оказалось, что нечесанные завоеватели, разрушители, уничтожив, а затем возродив великую античную культуру, создали еще более высокую. — Ну вот, а вы нервничали, — торжествуют оппоненты. Нужно отметить, что торжество их преждевременно.

Дело в том, что римляне, имея дело с реальными разрушителями, хорошо знали, какую цивилизацию им несут. Эти реальные разрушители не только ничего не принесли, но ничего хорошего и не обещали. Они и не собирались делать что-нибудь хорошее, и, если бы могли быть последовательными, то и не сделали бы. Великая цивилизация, воздвигнутая ими, есть прямой результат неумения довести свое дело до конца. Все, что они сделали, было следствием не намерения, а вынужденности, уступкой, исторической необходимостью, разрушавшей цельность и чистоту идеи. Еще не испорченное искушениями и соблазнами раннее христианство обращало в пепел даже римскую (сомнительную) демократию свободы. Христианство этой поры было хорошо лишь там, где оно опровергало себя и противоречило своему первоначальному намерению. Но ведь это бывает не во все эпохи, характерные стремлением уничтожить свободу, людей, человеческое достоинство, духовные ценности. Ведь не однажды бывало, что обстоятельства складывались удивительно, прямо-таки поражающе благоприятно именно для

самых гнусных, самых омерзительных и кровавадных концепций, особенно отвратительных тем, что они прикрывались розовой фразой о свободе, демократии и других необыкновенных вещах.

Поэтому не во всех случаях следует встречать приветственным гимном всех, кто стремится тебя уничтожить.

Мысль об упомянутом гимне приобретает влияние всякий раз, когда ограничивается возможность сопротивляться несправедливости, когда люди, боящиеся борьбы и поражения, ищут выглядящей вполне достойно возможности сдаться (Тацит). Тогда начинают уверять, что всякая последующая эпоха вне всякого сомнения прогрессивнее предшествующей (И. Флавий). И это совершенно естественно, ибо известно, что, в конце концов, торжествует добро (д-р Панглос). А исторический опыт неоспоримо свидетельствует, что тот, кто принял на вооружение указанную систему идей, вне всякого сомнения, никогда и нигде не пропадет (Лебедев-Кумач).

Скромность, стыдливость и ряд других превосходных качеств останавливают меня от желания вступить в научную дискуссию с перечисленными авторитетами. Но в то же время я не могу не думать о том, что было бы хорошо, если бы Тацит, И. Флавий, д-р Панглос и Лебедев-Кумач объяснили мне, как именно следует расценивать яacobинский террор, директорию, консульство и империю, наступившие после взятия Бастилии...

Лик всего народа?

Георгий ВЛАДИМОВ

— Здесь стоит жена осужденного. — крикнул им Сахаров, — будьте же хоть раз в жизни людьми!..

И этот вскрик, столь страшный по смыслу, нисколько их не ошарашил. Тотчас нашлась с ответом девица вертлявая и с порочным личиком, в лаконичной сверх предела юбчонке, в калужских кругах известная как «показательная воспитанница детской комнаты милиции».

— Мы-то вот люди, а вы кто? — И дальше уже по инструкции: — Нам стыдно за академика Сахарова!

Мы и они стояли по разные стороны ворот, из которых должны были вывезти осужденного, и они реготали, ржали тем смехом, какой возникает при виде пальца, — над чем же? Как ловко они нас провели! В руках у нас были цветы, мы хотели их бросить под колеса «воронка» с привычным уже скандированием: «А-лик! А-лик! А-лик!»; и эти цветы хранились в прозрачном полиэтиленовом мешке с водой и были розданы в последние минуты, — и тут, кстати, выдали себя все примазавшиеся, втесавшиеся, избображавшие «сочувствующих»: от цветов они отказались, этого инструкция то ли не предусмотрела, то ли не могла позволить — даже в целях маскировки. Однако ж и они приготовили свою «новинку».

За три дня мы привыкли, что «воронку» этот (не черный, как в песне поется, а серовато-розовый) вылетает стремительно и тут же срывается

и мчит за ним с порывистой сиреной оперативный желто-синий газик. Но вылетел — какой-то другой, без сопровождения, с одним лишь водителем в кабине, — у нас не было уверенности, но бросили цветы и под него, все-таки проскандировали. Это и было начало их розыгрыша, а самая кульминация наступила, когда у второго «воронка» так же театрально неожиданно распахнулась задняя дверка и подбежавшие дружинники показали нам, что в нем везут — порожние бутылки из-под кефира.

— А вы — «Алик, Алик!» Вот вы кого с цветами встречали. Подберите ваш мусор.

Уже давно истощились наши с ними дискуссии: кого мы тут чествуем цветами, и чем это нас не устраивает советская власть, и какого рожна нам еще нужно, «борцам справедливости», уже послышалось — и все чаще раздавалось — слово «стрелять», и вот некто, явно нагруженный, ступив с тротуара и выпятив живот, обвел наши ряды блаженным и оценивающим взглядом.

— Эх! Хорошо встали! Щас бы вас всех из автомата — одной очередью...

Все эти гогоучие, глумливые, неподдельной злобой исковерканные лица — это он и есть, лик моего народа? Это за него бороться нужно? Это ради него жертвовали профессией, любимым делом Сергей Ковалев, Андрей Твердохлебов, Юрий Орлов, платили свободой, да вот и

Александр Гинзбург в третий раз за решетку идет, за проволоку? Стоит ли? Нужна ли противникам нашим другая участь, они так довольны своею!

А ведь далеким предкам их свойственно было сострадание — даже и к государственному преступнику, — как же отвердели, окаменели потомки! А что стало бы, если кто-нибудь из них оказался «мягкотелым выродком»? Когда обращался к публике Сахаров с просьбой кому-нибудь выйти, уступить место жене, а публика смотрела на него из окон второго этажа — тупо, равнодушно, вовсе без всякого выражения, мертвецы, почему-то расположившиеся вертикально, — вдруг бы кто-нибудь ожил, вышел бы, уступил? Вдруг бы комендант суда, предупредительный и непреклонный, презрел бы свои функции и пропустил бы Арину в зал — хотя бы на время чтения приговора? Да хоть бы один из этих дружинников с выправкой строевых офицеров, — нет, не провел бы под свою ответственность, а только вопрос бы задал: «Ну, может, все-таки пропустим, начальник?» Стряслось бы крушение всей системы, миропорядка? Мы из литературы знаем, что стало с купринским дьяконом, который не опустил свечу, а поднял ее высоко и вместо анафемы «болярину Льву Толстому» проревел ему «многая лета», — он лишился службы и сорвал голос. Так, стало быть, анафемствовать — выгоднее, покойнее для души?..

Но вот с этими калужанами, из ко-

торых ни одного нет, у кого хоть один родственник, хоть самый дальний, не пострадал, не загибнул на сталинских «курортах», — чего мы не поделили с ними, откуда такая ненависть?

Кончается эта улица, тенистая и короткая, и нам расходиться пора, а пленительное «а вдруг» так и не приходит. Однако ж уходят они совершенно спокойно, с другими уже заботами на лицах, даже как будто усталые, опустошенные. Сыграв свои роли, сбросивши маски, они уже не дают себе труда ни лживого бранного слова произнести, ни выгладеть, какими только что были.

А полчаса спустя, на другой улице, я сталкиваюсь с одним из них, мы узнаем друг друга, и я вижу два глаза, смотрящие на меня с живым любопытством. А в самом деле — натаканый, адресированный, он ведь так и не получит ответа — что же нас гнало в эту Калугу, где нас не поселяли ни в одной гостинице — и мы спали по чужим дворам, по трое в одной машине, или по семь, по восемь человек в комнатке у знакомых? Что нас заставляло целыми днями выстаивать в затоптанном скверике около суда, откуда предусмотрительно заранее были убраны скамейки — без всякой надежды хоть на минутку проникнуть в зал. И чем мы могли помочь подсудимому, который не мог видеть ни нас, ни наших цветов?

Если хоть это ему интересно, то он уже «выродок». И, значит, не потеряян для человечества.

Возьмите и нас в Независимость

Рута ВАНАГАЙТЕ

ПОПЫТКА САМОАНАЛИЗА

Моя подруга из Финляндии, про-
быв неделю в Вильнюсе, с грустью
сказала: «Самое худшее вас ожидает,
если вы получите независимость вне-
запно». Мы с горечью осознаем, что
корни наших бед — не только в за-
претах и обидах, исходящих из Моск-
вы. Корни бед проросли в нас самих.

Новый человек социалистического
общества уже создан. Это мы — по-
коление, родившееся в 50-е и 60-е го-
ды. Мы родились в гниющей системе
и, подрастая, не созревали, а гнили
вместе с нею. Наш мозг, наша воля
атрофировались, а в легких черной
смолой осела повторявшаяся трид-
цать лет ложь.

Пожилой рабочий встречал
М. Горбачева с плакатом «Свободу
Литве!» и спокойно объяснил: «Я ро-
дился и умру в Независимой Литве».
Его поколению Независимость ну-
жна, чтобы спокойно умереть...

Литовское Возрождение — это ре-
волюция поколения пятидесятых и
шестидесятых. Десять-двадцать ре-
шающих лет отделяет их от нашего
поколения, от нашей судьбы. Родив-
шись в досоциалистической действительности, они родились как люди.
мы же — как народные массы. В на-

чале своей жизни они впитали чувст-
во благородства и глоток свободы и
сегодня пытаются вновь вернуть то,
что им уже раз принадлежало.

Мы для них не соратники. Нам ни-
когда и ничто не принадлежало. И
прежде всего — мы сами никогда не
принадлежали себе. Мы всегда знали,
что можем быть привлечены к от-
ветственности, если не за слово, то за
мысль, за то, что живем, наконец.
Это чувство вины — часть нашей лич-
ности. Психологи утверждают, что
так называемый «self-concept» —
автоконцепция человека, его автопорт-
рет окончательно формируется в го-
ды поздней юности. Мы уже сло-
жились...

Мы никогда нормально не работа-
ли — только прикидывались работа-
ющими. Уже физически не выдержи-
ваем напряженного восьмичасово-
го рабочего дня — ни ради денег, ни
ради идеи. Разве что под плетью
надсмотрщика. Мы уже не сумеем
жить при демократии, быть толе-
рантными к «инакости». Наше социа-
листическое сознание различает лишь
две краски — черную и белую. Знаем,
что истина, единственная и оконча-
тельная, — это наша истина. А тот,

кто ее не исповедует, — либо глупец, либо враг.

Для западного человека другой человек — позитивен: это возможный будущий партнер, клиент, работодатель. Другой являет собой условие моего благоденствия. Условие благоденствия социалистического человека — полное отсутствие другого. Другой, иной, чужой — всегда лишний. И очереди были бы короче, если бы не было этого другого, и в троллейбусе нашлось бы место для второй ноги.

Там — в очередях и в троллейбусах — мы прошли школу общения, университеты демократии и приобретенные знания успешно применяем в жизни. Журналисты нашего поколения, в ту пору овладевшие двумя основными жанрами — обливать грязью и петь осанну, сегодня успешно проявляют эти способности в возрождающейся печати и на телевидении. Операторы ищут ракурсы, чтобы поотвратительнее показать «заединщика», а эпитеты Возрождению скоро достигнут уровня послевоенного фильмама сталинизму.

Но не стоит удивляться нашему злорадству. Униженные, мы всегда, пытаясь излечиться, искали еще более ничтожных. То «педерастов», то «жидов», то «олигофренов», то «чукчей». Сыскав, кого столкнуть на самую нижнюю ступеньку социальной лестницы, сами поднимались... на предпоследнюю.

Вот такими мы стоим сегодня на пороге Независимости — с серыми от страха, раздражения и усталости лицами советских людей. Горький плод исторического эксперимента. Стоим со своими детьми, лица которых тоже начинают сереть, смотрим на них, и нам становится страшно, нам уже не кажется, что «чем хуже, тем лучше».

Но не удивляйтесь, если мы украдкой будем тосковать по той, своей, принадлежавшей нам и учившей нас

жить жизни. Мы не были в ней такими уж несчастными. Мы не более несчастны, чем наши сверстники, которые живут в красочном западном мире. Я провела среди них пять лет и с огорчением поняла: они не счастливее нас. Бог воздаст ровно столько, сколько и отнимает. Когда мы обречем Литву своих мечтаний, где жизнь станет похожа на жизнь в Финляндии, мы тоже будем сыты, в безопасности и... одиноки. Такова цена. Будем тосковать по дружным застольям и шепотом рассказанным анекдотам. В небезопасном мире, полном «других», чужих, врагов, мы словно теплой стеной были окружены своими — родными и друзьями. На Западе эта охранительная стена разрушается — она не нужна. Из конституции Финляндии недавно, под давлением общественности, исключена статья, обязывающая детей заботиться о своих престарелых родителях. Теперь эта обязанность возложена на государство.

Психолог Антони Кемпиньски исследовал влияние концлагеря на человека. Концлагерь был адом, но был в нем и рай — блаженство братства, любви, солидарности. В нормальной жизни люди трутся друг о друга, а не живут вместе. Социальные нормы охраняют границу интимной сферы другого человека. В концлагере маски спадают и открывается то, что в нормальной жизни бывает скрыто: святость или низость человека. Парадоксально, но в концлагере чувство одиночества было значительно слабее, чем в нормальной жизни.

Ведь это все — о нас.

Нам не стоит питать иллюзий, что мы все еще остаемся европейцами или что мы можем в одночасье превратиться в них. Все наши братья — по эту сторону стены: эстонцы, грузины и те русские, которые все еще ощущают боль в перебитом позво-

ночнике. Мы вместе прошли концлагерь.

Люди на Западе выросли с Библией и правовым кодексом, свято и ясно выстроившими моральные и юридические нормы. Они живут в открытом мире, где апартеид в Южной Африке был и их проблемой. А мы жили и продолжаем жить не только в качественно ином пространстве, но и в совсем другом времени. Нас и людей Запада разделяет по меньшей мере пятьдесят лет. Мы — их дедушки и бабушки.

Они не распахнут гостеприимно перед нами двери — ни для партнерства, ни для того, чтобы мы мыли им посуду и чистили обувь. Согласитесь, не очень-то приятно, когда на твои ботинки наводит блеск такой же, как и ты, европеец. Лучше уж кто-нибудь другой. Но есть и еще одна

тонкость — мы и там симулировали бы работу.

Нам еще долго жить — лет тридцать, может быть, сорок. В Независимости наше поколение ждут большие задачи. Нужно научиться произносить фразы, наполненные смыслом и мыслью. Научиться их писать. Научиться, кроме белого и черного, различать и другие цвета, хотя бы один. Научиться не бояться чужих людей — они не обязательно представляют для нас угрозу. Перестать пить, унижать других и уничтожать себя...

Мы должны пройти всю эту учебную программу — до последнего экзамена, чтобы розовощекими старцами лечь в землю, став экологически чистым удобрением для Родины своих детей.

(Из газеты «Согласие»,
г. Вильнюс)

С ЛЕНИНЫМ В БАШКЕ

Виктория ЧАЛИКОВА

*Мы — голодные,
Мы — нищие,
С Лениным в башке и с нагапом в руке.*

В. МАЯКОВСКИЙ

В молодежной газете приводится ответ юноши на вопрос: не боится ли он, что нашу молодежь в случае политических выступлений ждет участь китайских студентов с площади Тяньаньмэнь? — «Я был бы этому очень рад, — отвечал молодой человек. — Все бы тогда поняли, какой у нас режим.» — «Но ведь погибли бы люди!» — «Ну, и что же, в революции кровь должна литься».

Если этому парню предложить ответить на обычные сегодня анкетные вопросы: о большевистской революции, о Ленине, о коммунизме — он, наверное, обнаружит себя антикоммунистом, антиленинцем. Сообщается ведь, что это средний, типичный молодой человек: следовательно, все в нем должно быть более-менее коммифо, как надо: джинсы, обувь, политические взгляды. Но в тот момент, когда он говорил: «Я был бы очень рад» — из-за его плеча выглянул знакомый прищур и знакомый голос с картавинкой произнес: «Молодец! Это архиверно!»

Ленинизм сегодня силен, как никогда: покрывшийся было плесенью и, казалось, тихо увядавший в годы застоя, он мгновенно ожил, sprysnutyj волной перестройки. И нет в том никакого парадокса. Ведь разрушение

идеологии произошло не сейчас, а в годы «застоя», когда массы людей наконец перестали ждать светлого будущего и просто начали «жить» — то есть всеми правдами и неправдами доставать жизненные блага. Когда для большинства откровенным идеалом стал процветающий Запад. Когда служение коммунистическим идеям свелось к примитивным, хотя и пышным ритуалам; когда буквально обо всем, что прежде было свято, сочинялись анекдоты — в том числе и об Ильиче. Люди, включавшие в свою культурную московскую программу, наряду с ГУМом и ВДНХ, Мавзолей, конечно, уважали Ленина, но они мало думали о том, кого уважают и что из этого уважения следует. Особенно иммунной к ленинизму казалась интеллигенция, читавшая «Ленин в Цюрихе» Солженицына и «Лениниану» Венедикта Ерофеева и искренне принимавшая свою антипатию к историческому персонажу и его учению за неприятие ленинизма.

Не будем говорить походя о личности Ленина — это более сложный предмет. Что касается учения, мне кажется, ленинизм — это не философия, не политология: это тактика и метод. В ряске застоя в политической тактике не было движения. Сейчас

обозначились бурные тактические маневры, и они не могли не оказаться ленинскими по методу — так оставленная много лет назад пластинка воспроизводит под включенной иглой именно то место, на котором ее остановили.

Застой законсервировал и сберег ленинизм: в его прокисшей атмосфере революционный большевистский метод сохранился свеженьким, как огурчик в хорошем рассоле, и многие люди, пробужденные к политической активности, автоматически взяли этот метод на вооружение.

Несмотря на разоблачительные статьи, карикатуры, частушки и даже гребование вынести его из Мавзолея, Ленин прочно занимает первое место в списке великих людей, предлагаемом для опросов. Но как раз те 50—70 процентов, что неизменно отдают ему пальму первенства, меньше всего кажутся мне ленинцами. Более того: если это люди без глубокого гуманитарного образования, я рискну сказать, что они антиленинцы: Ленина они по существу не знают, а просто обнаруживают верность традиции, святине, духовный консерватизм, то есть ярко антиленинские качества. У не циничного, не эгоцентричного человека должны быть святynie, как должны они быть и есть в каждом нормальном обществе. Гласность отняла у людей Сталина — пока они держатся за Ленина, чтобы не остаться без опоры, без исторического сознания вообще, и Ленин для них — символ, что не все разрушено и осквернено, а разрушение и осквернение — не их ценности.

Ленинцев надо искать не среди них, а среди тех, кто, громко проклиная Ленина, опьянен его мятежными страстями и подчинен его логике, логике революционного взрыва, сути коей формулируется так: чем хуже, тем лучше! Убеждение, что единст-

венный способ радикально изменить жизнь — это провоцирование ее к ухудшению, составляло душу большевистской тактики, да и стратегии. Часть этой логики открылась мне очень давно, почти случайно. Я позволю себе личное воспоминание.

В детстве, в годы учения, случилась странная вещь: моя память, воспроизводившая тогда дословно страницы лермонтовской прозы и целые главы учебника физики, отказывала всякий раз, когда дело доходило до съездов партии. То есть содержание съездов я запоминала во всех подробностях, но заговздка была в том, что я никак не могла вспомнить, к какому съезду надо отнести эти подробности. Вопрос «что было на шестом съезде?» повергал меня в тупик, и только заглянув в начало главы, я вспоминала, что дальше.

Пытаясь понять причины своего ступора, я прежде всего сосредоточилась на характере своей памяти. Я знала, что она логического типа: я могу нанизать текст только на какой-то смысловой стержень. (Никогда не могла запомнить номера телефонов, не находя в них смысла.) Но в истории партии явно были и логика, и сюжет, и смысл. Может быть, они были ложными? Так пришло открытие собственной логической ошибки: я исходила из ложной концепции, что история партии есть история борьбы Ленина с самодержавием, и поэтому о каждом съезде старалась припомнить, против какого же именно порока или деяния самодержавия боролся на нем Ленин: против несправедливости, невежества, отсталости? И, естественно, ничего не могла вспомнить! Потому что из года в год, от съезда к съезду Ленин боролся не с самодержавием, а с его **врагами** — народниками, легальными марксистами, богоискателями, просветителями, меньшевиками, эсерами.

Когда я поняла это, запоминание

съездов наладилось, но оставался вопрос, почему он так яростно боролся с врагами самодержавия? На этот вопрос я смогла ответить гораздо позже, многое перечитав, передумав и пережив. Позже пришел ответ и на другой вопрос, смутно вставший передо мной, когда в детское чтение вошел кудрявый мальчик Володя, влюбленный в старшего брата Сашу. (С чем будешь кашу есть? — Как Саша.) При известии о казни брата он сказал: «Мы пойдем другим путем». Что значила эта фраза? Мне объяснили: нужен не индивидуальный террор, а организация партии и прежде всего печать. Но неужели, думалось мне, мальчик, потрясенный смертью самого любимого человека, обнимая плачущую мать (так было на картинке), решает в это время, что печать есть не только коллективный агитатор, но и коллективный организатор?

Не уверенная, что сцена в Симбирске была именно такой, я убеждена теперь, что «**другой** путь», действительно, был избран в те дни, что был свершен духовный переворот в поколении, в его незаурядном представителе. И только за духовным последовал роковой политический переворот.

Владимир Ульянов разрывал с Александром Ульяновым, а Александр был из тех, кто еще верил в исправление мира подвигом и жертвой — убийством одного и искупающей убийство гибелью другого, его крестной мукой. Поколение Александра еще читало некрасовские строки так, как они были написаны: «Дело прочно, когда под ним струится кровь», — то есть **моя** кровь. Ленинизм рассчитывал на чужую кровь, хотя обильно пролил свою. В ленинизме не было жажды жертвы, и это выразилось впервые в ясном ощущении мальчика, что он не хочет «как Саша», что **крест его не манит**, что «положить живот за други своя» ему

не сладостно. Впоследствии, преклоняясь перед Плехановым, он не мог простить ему вот этой часто повторяемой Плехановым фразы из Писания — «положить живот за други своя».

Меня всегда поражала в русских народниках их погруженность в мир евангельской притчи, в ее символы. Просветители или цареубийцы, легальные или нелегальные, и все уж давно ставшие атеистами, они в своих письмах, исповедях, дневниках без конца воспроизводили этот крест, этот кровавый цикл: грех, искупление, спасение. И слушая как-то доклады востоковедов Евгения Рашковского и Владимира Хороса о религиозном измерении народничества, я все время думала о большевизме, об его отказе от пафоса и символики христианства.

Вот это противоречие между нехристианской этикой русских революционеров, поправших принцип «не убий», и их же христианской психологией, заставлявшей эсера Зензинова писать, что ни раскаяние, ни даже гибель убийцы не спасают от бремени греха, а эсера Каляева — откладывать покушение, чтобы не пострадали женщины и дети, — именно это противоречие радикально снял большевизм, приведя психологию в гармонию с этикой. Оказалось, можно заниматься ликвидацией людей и быть спокойным, уравновешенным: играть в шахматы, удить рыбу, наслаждаться горными прогулками. Тут была важная деталь: не делать ничего такого собственноручно, действительно, идти путем другим, чем Александр, который взял на себя и деяние, и расплату, отрицая на допросах какое бы то ни было чужое соучастие и влияние.

Горький писал, что Ленин, как никто, ненавидел несчастье, — в этом суждении, как везде у позднего Горького, есть капля мутящего правду лукавства: писатель не добавляет, что

Ленин ненавидел свое несчастье... Впрочем, жизнь Ленина в ее финале, результатах подлинно трагична; вспомним, что Василий Гроссман, собравший в повести «Всё течет» самые гневные слова для обличения ленинизма, нашел в романе «Жизнь и судьба» слова сострадания для описания последних дней Ленина...

Оставим же человека и перейдем к мироощущению. Оно, действительно, уникально для русской революционности — если не считать Нечаева, которого Ленин очень любил, но легализовать в качестве образца все-таки не решился (хотя, по свидетельству В. Бонч-Бруевича, хотел бы). Но Нечаев все же остался каким-то зловещим курьезом, неправильностью в истории революции, скрытая же нечаевщина Ленина ускользнула от глаз большинства современников, а потомки уже и не могли ее разглядеть сквозь толщу иконной краски. Ленинизм не отрефлектировал до конца уникальности своего мироощущения.

Отзыв Ленина о декабристах — «страшно далеки они от народа» — открывает, что он многого в русской культуре не понимал и в этом смысле не вполне ведал, что творил. Декабристы были **страшно близки** народу — ни одно поколение революционной интеллигенции так уже не было близко. Вскормленные крепостными кормилицами, взлелеянные нянями-крестьянками (а нередко от крестьянок и рожденные), работавшие в поле, ездившие в ночное, прошедшие походы с солдатами и владевшие солдатским матом так же непринужденно, как литературным французским языком, они жили основными ценностями народа. Поэтому, планируя дворцовый переворот с возможным убийством монарха, они постановили, что цареубийца тут же, на глазах народа, убьет и себя, ибо «народ крови не промет». Поэт их юно-

сти, их товарищ Александр Пушкин запечатлел это в художественной формуле финала «Бориса Годунова», где толпа, только что яростно требовавшая царской крови, отчужденно безмолвствует, увидев ее вживе...

В большевизме сознания греха и неизбежности искупления не было, хотя трагизм этого поколения превосходит все, что было в русской истории: большевистская интеллигенция почти вся погибла в сталинских застенках. Но она не хотела своей гибели, не жила в постоянном предчувствии законной расплаты — разве исключая такие утонченные натуре, как Бухарин.

Но «другой путь» большевизма означал не только приятие скорее чужой, чем своей крови. Он означал отказ от веры в исправление человека, в том числе правящего человека, человека у власти, — отказ от любых форм диалога с действительностью, с властью, с обществом.

Старый русский революционер долго верил в хорошего царя, и эта вера, над которой нас учили смеяться, была залогом возможности для России либеральных реформ. Декабристы хотели заменить Николая Константином, ценя в последнем либеральное отношение к Польше; Герцен, вдохновленный реформой Александра II, написал ему горячее, искреннее письмо и был осмеян оппонентом (предполагается, что это Чернышевский), провозгласившим: прощайте и помните, что столетиями губит Русь вера в добрые намерения царей. К топору зовите Русь, к топору!

Разумеется, топор нынче ставят Чернышевскому в вину, но первая часть формулы — неверие в чьи бы то ни было добрые намерения — по-прежнему считается высшей интеллектуальной доблестью. Отчаявшиеся народники стреляли в царя, но и это еще не был отказ от веры в возмо-

жность исправления мира однократным деянием. Убеждение, что чья-то единственная смерть может изменить ситуацию к лучшему, говорит о сохранении веры в силу добра — как они его понимали. Ленинизм убежден: бессмысленно убивать царя, недостаточно даже разрушить государство — нужно **разрушить общество**.

В свое время большинство интеллектуалов находило наивными попытки Андрея Сахарова и Александра Солженицына убедить Брежнева в необходимости реформ. Но как раз избранный ими жанр — Письмо к вождям — был важен как знак, что великие наши современники отказываются от ленинской стратегии абсолютного разрыва с существующим.

Мнение, что в ленинизме содержится утопия о человеческой природе, о новом прекрасном человеке, ни на чем не основано. В отношении к природе человека Ленин был не романтиком, а прагматиком: потому он и считал неизбежными массовые репрессии и потому так быстро перешел к принципу материальной заинтересованности (да и Троцкий дарил красноармейцам не только пламенные речи, но и деньги). Романтиками они были в отношении к обществу, а не к личности: они верили, что где-то в **промежутках между людьми**, возникнет идеальная организация, отлаженная машина, цветущий край, даже цивилизация — модернизаторского пафоса тут нельзя отрицать, — но не прекрасные люди.

Борьба Ленина с другими врагами самодержавия была борьбой с **непоследовательностью их вражды**, с теми «шелками» и «просветами» в их сознании, сквозь которые в него входил обычный неревOLUTIONный мир. Эти, другие, дифференцировали действия властей, они изредка позволяли себе всерьез слушать, что говорят в Думе; они могли менять позицию, когда случалось что-то уж совсем

небывалое — например, их страна вступила в войну или начинается в ней голод. Все это Ленин называл «оппортунизмом». Оппортунизм — заниматься благотворительностью, потому что «чем хуже — тем лучше». Оппортунизм — желать победы своей стране — по той же причине. Оппортунизм — верить хотя бы одному слову власти. Оппортунизм — всерьез, а не для пропаганды и провокаций участвовать в думских дебатах.

В облике Ленина, созданном Солженицыным в книге «Ленин в Цюрихе», не все мне кажется достоверным психологически и исторически. Но ретроспективная сцена в солженицынском «Марте семнадцатого» — когда большевистская эмиграция ликует при известии о Кровавом Воскресенье, считая его прологом революции и вовсе забыв о лежащих на снегу мертвых, — психологически достоверна: она знакома нам и по мемуарам. Это не личная жестокость — это результат полной **герметизации** революционного сознания. В этом была его сила, эффективность, энергия и — бесплодность с точки зрения интересов человека и общества. Ленинизм был **неподкупен**: никакие улучшения в доревOLUTIONной действительности не могли его смягчить. Все реформы — учили большевики — это маска, декорация, обман, иллюзия, сказки для прекраснодушных. Эта неподкупность подкупала озлобившихся и не привыкших думать людей, вселяя надежду и веру в твердокаменных большевиков. Знаменательно, что главным достижением действительно ценного им Льва Толстого Ленин считал... «срывание всех и всяческих масок»...

Те, кто близко и подробно наблюдает сегодняшнюю политическую жизнь, не могут не заметить в ней ярких признаков ленинизма. Снова презирается либерализм, считаются предательством элементарная чест-

ность и порядочность в отношении власть имущих; любое компромиссное действие объявляется оппортунистическим; наконец, всякая отдельная реформа третируется как декорация и «пустяк». На митингах можно услышать, что декорации — и вывод войск из Афганистана, и возвращение Сахарова, и публикация Солженицына. Конечно, всякое действие многослойно, и мотивы его не всегда ясны, и одно событие вольно или невольнo потесняет другое, и всегда есть, что критиковать. Но когда за событиями полностью отрицается объективный смысл — это уже метод. Когда революционное становится антиподом естественного — это метод. Нормальному человеку не втолкуешь, почему солдат, выносящий ребенка из горящего барака, — оккупант; и почему для национального суверенитета лучше, если пролилась кровь. Нормальный человек не понимает, зачем голосовать за того, кто тебе противен и как противный может быть «полезен»? Но нормальный человек зовется у революционеров «мещанин». «Какой мещанин!» — сказал Ленин об Уэллсе, полагавшем, что из голода, грязи, вшей и стрельбы не получится светлого будущего.

Когда-то Маркс заметил, что роль прусский ненавидит революционеров меньше, чем либералов. Противостояние либерализма революционаризму в русской истории оказалось нестойким. Русский либерализм стремительно радикализировался: либералы своими абстрактно-разоблачающими речами в Думе («абстрактно» — потому, что они заранее готовили разоблачения — безотносительно к фактам) сами сбросили самодержавие, расчистив площадку для большевизма. Ленин непосредственно и не боролся с самодержавием: он знал, что это прекрасно сделают левые кадеты и эсеры. Его задача была — разрушить общество. И оно рухнуло

— вместе с кадетами, эсерами и всеми прочими, которые, находясь под моральным террором крайне левых, не смели быть самими собой и потому вообще перестали быть.

Гриб сохраняется в рассоле, но быстро плесневеет на воздухе. Сохранный в застое ленинизм должен был бы распасться в атмосфере демократии. Но заколдованность ситуации в том, что пронизанная ленизмом атмосфера слишком медленно демократизируется.

Непримиримость к действительности, игнорирование фактов, пафос отрицания и неутоляемая жажда перемен, не сдерживаемая ни страхом за чужие жизни, ни ужасом перед собственным грехом, — вот комплекс ленинизма, деформирующий общество снизу доверху. Этот комплекс делает тех, кто на самом низу, более мягкими, чем они есть на самом деле; тех, кто на самом веру, — более охранительными, чем они есть на самом деле; а тех, кто между ними, — более неуверенными, чем они есть на самом деле. Этот комплекс делает всех нас не лучше, а хуже, чем мы есть.

Общество разбивается на несколько лагерей, и в каждом лагере особо ценятся те, кто умеет подстроить оппоненту ловушку, добиться, чтобы он «сбросил маску» и «показал свое истинное лицо». Какое это заблуждение, абсурд — считать, что истинно только искаженное лицо; но именно в силу своей абсурдности эта установка практически неопровержима. Чекистское убеждение, что «прижми любого, как следует, — и юшка полезет», убеждение, что подлинна в человеке только юшка, противоположно либеральному убеждению, что **не надо прижимать** человека и ждать, какая гадость из него полезет; не надо тратить усилия на обнаружение «подлинного лица» — гуманнее и выгоднее тратить силы на то, чтобы потен-

специальное зло вообще не проявилось.

Либерализм не сумма позиций (позиции могут и должны меняться в разных ситуациях), а готовность поддерживать и принять все сколько-нибудь положительное. Поэтому, понимая всю разницу ориентаций и темпераментов А. И. Солженицына и А. Д. Сахарова, я ощущаю их обоих антиленинцами. Андрей Дмитриевич остался в моей памяти как живое воплощение свободы выбрать добро. Как бы резко, яростно он ни боролся с тем, что считал злом, никогда он не

стремился ухудшить ситуацию сегодня, чтобы она стала лучше завтра. Лукавая и вместе с тем убогая диалектика: чем хуже — тем лучше — была ему совершенно чужда.

Ленинизм — наше естественное наследие; от этого не уйдешь. Но у него есть противоядия. Это и отечественная философия, и современная наука, и Короленко, и Гроссман, и «Красное колесо» Солженицына. И весь Сахаров — его статьи, его голос, его улыбка.

 ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

ПЕРЕД ПАМЯТНИКОМ ЛЕНИНУ

Георгий ФЕДОТОВ

Насколько можно судить отсюда, доверяясь показаниям беглецов и путешественников последних месяцев, даже самой советской печати, пятилетка кончилась крахом. Хаос, голод в стране возвращают Россию к самым мрачным годам военного коммунизма. Мы не знаем, как будут развиваться дальнейшие события. Удастся ли большевикам спланировать к новому НЭПу, спасет ли их большевистский бог, или последний год пятилетки будет и последним годом их власти? Но пусть последним. Пятнадцать лет для партии революции — срок огромный, небывалый. В революции годы должны считаться за десятилетия. Все на свете проходит, пройдут и большевики. Но пятнадцать лет власти, успехов и побед

— в величайшую, ответственнейшую эпоху жизни России и Европы — дают право на исторический памятник. Уже очертания этого памятника в веках менее всего зависят от самих коммунистов: от их доблести, ума и проч. Они зависят теперь от двух величин, с которыми связано их историческое дело. Эти величины — Россия и социализм. Если Россия не развалится, а будет жить, как великое государство и великий народ, то ее революция войдет тоже, как «великая», на скрижали истории. Партия, которая провела эту «великую» революцию, актеры великой исторической драмы будут жить в веках, несмотря на все разоблачения их подлинного роста, как «великие» исторические деятели.

То же самое с социализмом. Если

победит в мире социализм, или даже просто трудовое рабочее общество, оно канонизирует всех борцов за рабочее дело, и в ряду этих борцов Ленину отведет одно из первых мест. Рядом с Марксом и, может быть, впереди его. И при том независимо от того, насколько усилила Ленина приблизили или отодвинули осуществление социализма. Французские коммунары, несомненно, повредили делу социализма и рабочего движения. Однако социализм чтит в них не только мучеников своего дела, но и победителей на час, провозвестников грядущей победы. 15 лет российской коммуны куда значительнее 2 месяцев французской.

Но что это значит: «великий», «значительный», «грандиозный» — эпитеты, которые мы прилагаем к историческим деятелям и событиям, получившим памятники в истории? В «великом» не содержится ни малейшей крупинки добра, даже утилитарной полезности. Это чисто количественный масштаб, который может представляться эстетическим только потому, что существует особая, далеко не первосортная, эстетика грандиозного. Есть великие разрушители, великие злодеи, как есть великие океаны и горы, Гималаи не прекраснее Кавказа; Аттила, Тамерлан, Чингисхан, что бы ни говорили евразийцы, не лучше и не прекраснее убийц, которые ежедневно совершают свои подвиги во всех уголках мира. Но число жертв, выражаемое шестизначными цифрами, уже поднимает деятеля из мира преступного в мир великого — в глазах лишенной совести Клио. Если же эти жертвы пошли не на чистое разрушение, а вложились — безразлично с каким результатом — в объективный процесс истории, получили «отношение к ценности» — государства, нации, класса, учреждения — тогда величие получает видимость положительного значения.

Почти несомненно, что мир кроется памятниками Ленина. Бесконечно тяжело думать, что ими будет после периодов реакций, снова и снова осквернена Россия. Кто знает, не разделит ли и Сталин посмертную славу своего учителя?

Значит, конец? Конец нашей тяжбы с большевиками? Процесса, который мы ведем против них перед Россией, перед миром, перед историей? — Нет, не конец, а лишь начало. Мы не согласны на памятник большевикам, мы разрушаем его до фундамента. Живые свидетели преступления, мы не примиримся с пятнадцатилетней давностью. От современников мы апеллируем к потомству. Разочаровавшись в провосудии Истории, мы идем выше. «Есть Мститель там, над звездами». Это не значит, что надзвездный суд не связан с земной действительностью. Но это значит, что последние основания исторического суда лежат над историей и не измеряются мерой исторического успеха.

Есть две философии истории. Для одной истории есть всегда поступательное движение, развитие или прогресс или раскрытие Абсолютного Духа. Консервативный или революционный, но это всегда дифирамб действительности. Все злое и темное в историческом процессе принимается как жертва или цена. И эта цена никогда не кажется слишком дорогой, ибо покупаемое благо мыслится бесценным и бесконечным — в необозримой перспективе будущего. С этой точки зрения — не только гегелианской, но и господствующей — все к лучшему в этом лучшем из миров. Пала Римская империя и цивилизация. Чудесно! На ее развалинах, из ее элементов создается более свободная, более духовная культура средневековья. Разлагается средневековый строй и мирозерцание — Ренессанс создает еще более высокие формы, в которых мы живем. Монгольское иго помогло Руси создать

свою государственность. Деспотизм Москвы обеспечил России ее единство, опричнина демократизировала правящий класс, «Смутное время» вытянув дурные соки, консолидировало Россию. И т. д., и т. п. Этот неисправимый оптимизм не смущается, как мы видим, ни бесспорным фактом попятных движений в истории, ни даже гибелью государств, народов, культур. Все это законные, необходимые паузы или понижения восходящей кривой. Закон непрерывного восхождения выводится из ограниченного опыта нескольких последних столетий и, в конце концов, опирается на недоказуемую предпосылку веры: религиозной, но не христианской, пантеистической (гегельянской) веры в Абсолют, раскрывающийся в истории.

Но есть другой взгляд на историю — как на вечную борьбу двух начал. Августиновское учение о двух градах лучше гегельянского уясняет возможность творческих и разрушительных процессов в истории. Откажемся от того, что было одностороннего у Августина: от внешнего противоположения двух градов. Признаем, что внутри каждого из строившихся общественных и культурных типов идет борьба за план и стиль целого, которая оканчивается или включением его в творимый Град Божий, или выпадает в небытие, неудачей, катастрофой. Ничто не предопределено в истории силой естественных законов или давлением Божественной воли. Ибо история есть мир человеческий — не природный и не Божественный — и в нем царит свобода. Как ни велико в истории значение косных, природных, материальных сил, но воля вдохновенного Богом или соблазненного Люцифером человека определяет сложение и распад природных сил. С этой точки зрения, не может в мире пройти бесследно ни слабое усилие к добру, ни малейшее

движение зла. Не поглощаются они одним историческим процессом, а включаются в разные одновременно действующие процессы: созидания и разрушения. И если внимательно вглядываться в жизнь, то в видимом ее единстве всегда можно различить двойкую детерминированность: к вечности и к смерти.

Возьмем Французскую Революцию — Великую, грандиозную — определяющую доселе бытие французского народа. В этой революции действовали положительные силы: любовь к свободе, равенству, энтузиазм и даже самоотречение рождающейся нации. Эти силы и создали французское национальное самосознание, столь изумительное своей крепостью, и свободную гражданственность, тоже завидную на фоне рабства стольких народов. Но в этой же революции проявились поистине сатанинские силы сословной, классовой, антихристианской ненависти. 600 000 жертв гильотины — заглажены ли они счастливым исходом французской революции? В том-то и дело, что нет. Где отместие за террор Конвента и за безумную горячку тех героических лет? Оно прежде всего в столетней лихорадке реакций и революций, которыми Франция изживала свою первую, «Великую» революцию. Равновесие политической жизни удалось найти после целого века гражданских войн. Второе, связанное с этим последствие — глубокий раскол внутри французской культуры, подрываемой вековой тяжбой между «традицией» и «революцией». И так как силы традиции, и среди них величайшие — средневековья, классицизма, католичества — стоят против революционного фронта, то духовная культура победившей демократии оказывается чрезвычайно бедной. Материализм и скептицизм разлагают и политическую жизнь Франции, и самые основы моральной жи-

зни нации. При таких условиях конечная судьба и французской демократии и самой Франции остаются все еще под сомнением. Дело Дантона не вечно, как оказалось не вечным и даже не долговечным дело Бисмарка. А в России — разве наше поколение не расплачивается сейчас за грехи древней Москвы? Разве деспотизм преемников Калиты, уничтоживший и самоуправление уделов, и вольных городов, подавивший независимость боярства и Церкви — не привел к склерозу социального тела Империи,

к бессилию средних классов и к «черносотенному» стилю народной «большевистской» революции?

Исторические тяжбы долго тянутся и оканчиваются лишь со смертью народов. Никогда, никогда не изглядятся из жизни России злодеяния пятнадцати лет победоносной революции, как не изглядятся из нее и преступления царей. Отдаленные наши потомки будут расплачиваться за злое похмелье этих лет.

1933 год.

ПОЧТА

От кого таимся?

Убежден, что большинство наших секретов, в том числе военных, вовсе не являются секретами, особенно для специалистов-аналитиков. Например, я вообще не могу себе представить, что в нашей автомобильной промышленности могут быть какие-либо секреты, — но они, однако, имеются и соответствующим образом охраняются: везде есть первые отделы, допуски, режим и т. д.

По некоторым оценкам, ущерб от неоправданной секретности обходится стране в 30—40 миллиардов рублей в год («Новое время», 10/90, с. 28).

Полагаю, что режим секретности, введенный в пору расцвета «классовой борьбы и империалистического окружения» и процветающий до сих пор, существует по трем причинам.

Первая — необходимо, очевидно, поддерживать некоторые иллюзии у Запада относительно наших военно-промышленных потенциалов: коли мы

что-то секретим, значит, у нас что-то есть.

Вторая — режим секретности просто необходим для существования соответствующих служб и ведомств, обеспечивая стабильные sinecure отставным военным, надзирающим за «порядком» в стране.

Третья — использование режима секретности по ведомственным и (или) идеологическим соображениям. У нас секретится не только информация о нашей собственной технике из «ихней» открытой печати, особенно сравнительная, но и информация об «ихней» технике аналитического характера. Очевидно, сокрытие объективной информации от широких масс наших специалистов необходимо для того, чтобы они были не в состоянии самостоятельно определять степень нашего отставания и убожества во многих отраслях машиностроения...

М. ТЕПЛОВ,
инженер-механик,
г. Москва.

АПОСТОЛ ХОЗЯИНА

Юлий ХАЛФИН

XX век торопится к финалу. Начавшись кровавыми потрясениями, он вершит поминки чернобыльями, землетрясениями, круговой пальбой... Что еще предстоит нам изведать до его конца?

Мы нервно всматриваемся в лица его пророков, мыслителей, его великих мучеников, великих предателей, великих убийц. Одни лики молчат. С трудом приходится добывать правду о них. Другие кричат.

«Лик намалой мой в божницу уродца века! — яростно кричит поэт Владимир Маяковский. — Я в самом обыкновенном евангелии 13-й апостол».

«Я предтеча годов великой жестокости, мятежей, моя окровавленная душа будет вашим флагом в дни крови и мести», — несется со всех страниц Маяковского еще в предоктябрьские годы. Не верили. Считали мелким хулиганством. И лишь когда поднялась страшная волна 1937-го, то сам Верховный Палац, утвердивший трон над гребнем этого вала, взял лик мученика-самоубийцы и вставил в иконостас в качестве «лучшего и талантливейшего» своего пророка.

Пророк Хозяина спустился в наши долины с высот того же благословенного Кавказа, опережая прибытие самого Князя Тьмы. Но он пророчил его. Требовал, чтобы перо было приравнено к штыку, взято на учет и «о работе стихов от политбюро чтобы

делал доклады Сталин». Звал: явись, приди «боже из мяса, бог человек».

Маяковский издевается над Рождеством, Распятием, Воскресением. В 1919 году он радостно пророчествует, как будет валяться Святой Петр «с проломанной головой собственно-го собора» («150 000 000»).

Такой пророк мог устроить помазанника Сатаны.

Маяковский именуется себя 13-м апостолом в поэме, которую считал катехизисом современного искусства (она называлась «13-й апостол», и стала «Облаком в штанах» только после столкновения с царской цензурой).

Как те двенадцать, он тоже возвещал новую эру. Но те проповедовали Бога любви, всепрощения. Он же «выжег души, где нежность растили».

Невероятная, странная для атеиста ненависть к Творцу вселенной и даже ненависть ко Христу, который всегда виделся людям воплощением лучшего в человеке (в том числе атеистам — бунтарям типа Белинского, Герцена, Некрасова). Вековечный неземной Бог ненавистен 13-му апостолу. «Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою отсюда и до Аляски», — грозит он ножом. Антиевангельская тема пронизывает все крупные произведения Маяковского. Евангелие — модель для построения своего мира. Ангимира. Вчитаемся в Евангелие Маяковского.

* * *

Его первая пьеса, «Владимир Маяковский. Трагедия», вся — «ненависть к дневным лучам», к Богу: «Это я попал пальцем в небо, показал: он — вор!».

В «Облаке» поэт бунтует против Бога, Ангелов, Неба, грозя все разбить вдребезги, резать «божика» за то, что не способствует его любви к женщине.

Во «Флейте-позвоночнике» вместо Богочеловека распят на листе бумаги сам поэт. Он «кандидат на царя вселенной». Почему б и нет?

«Человек» — последняя предреволюционная поэма. Это воистину Евангелие от человека. Главы: Рождество, Страсти, Вознесение. Но не Христа, а Маяковского. Первая революционная пьеса «Мистерия-буфф» — злая пародия на Бога, религию, ад, рай, библейский потоп и евангельские заповеди.

После Октября евангельская тема не исчезает, но видоизменяется. Место всеильного Человека, могучего Антихриста занимает конкретно-исторический человек — Ленин. Хоть он, «как я и вы, совсем такой же» (сын человеческий), но он и титан, полубог. Без него мир — хаос («металось во все стороны мира безголовое тело»). Он встал над миром «огромной головой» («Владимир Ильич»), указал пути, указал, по каким трупам шагать. В поэме «Владимир Ильич Ленин» говорится: «Он в черепе сотней губерний ворочал, людей носил до миллиардов полутора, он взвешивал мир в течение ночи». Так не говорят о человеке.

Поэма построена на манер Священного писания. Первая глава — ожидание Спасителя («Ветхий Завет»), мечта о «заступнике солнцелице». Ожидание мессии, моление о

нем (негра, коммунаров, русских рабочих).

Привычна и запальчивая оговорка: «не бог ему велел — избранник будь!», «если б был он царственен и божествен, я б от ярости себя не поберег». Интересно, что в богоборческом пафосе Маяковский нарушает даже новые правила игры:

... Я бросал бы
в небо
 богохульства,
По Кремлю бы
бомбами
 метал:
 долой!

Эти строки невозможно было публиковать, когда за этой самой кремлевской стеною восседал божественный и царственный — и их цензура, уже советская, сняла.

Вторая глава — приход. Деяния вождя. Третья — воскресение. Бессмертие. «Вновь живой взывает Ленин». Восстает в новой плоти: с красного полотнища зовет строиться в боевые отряды, чтобы идти на последнюю «единственную великую войну».

Он наделен многими атрибутами божества — всеведением: знает все, ведает мысли каждого, о каждом работает; ведает пути истории, когда все заблуждаются; держит в сознании весь шар земной. Он свет мира. Это сияние он дарует каждому, кто прикоснулся к нему. У горца лохмотья «сияют ленинским значком». Темный рабочий класс «тек от него в просветлень». «Сияет» — «слово партия». Его смерть — меркнет свет. Черными становятся огни люстр. Гаснет солнце. Темен земной шар. Его воскресение — вновь сияние света: «Выше, солнце...». Сияет «коммуна во весь горизонт». Это сияние стоит и над его челом, когда он в гробу.

* * *

Сотворенным земным раем оканчиваются почти все произведения Маяковского: «Война и мир», «150 000 000», «Хорошо!», три пьесы.

Рай Христов, по словам обыкновенного человека («Мистерия-буфф»), — «евангелистов голодное небо»; «в раю моем залы ломит мебель», «услуг электрических покой фешенебелен». «Мой рай для всех, кроме нищих духом». Нищие духом войдут в небесный рай? Идее всепрощения герой Маяковского противопоставляет идею мести. Заповеди «не убий!» — заповедь «убей!»

Ко мне —

кто всадил спокойно нож
и пошел от вражьего тела с песнею!

Этот монолог Маяковский именует новой «нагорной проповедью». Раз есть новая основополагающая проповедь, то должен быть и новый идеал человека. Если в Евангелии это был тот, кто «кроток и смиренен», то в поэме «Хорошо!» как идеал для подражания назван Держинский. Случайно ли из всех имен избрано это? Почему не Ленин? Понятно, он уже слишком надчеловечен: всеумдр, все-силен. И этот ориентир неоднолинеен. Маяковский любит плакатную ясность. Человек с оружием в руках. Железный кулак диктатуры. «Солдаты Держинского» стоят в собрании сочинений поэта рядом с поэмой «Хорошо!» — его катехизисом нового времени. Окна Лубянки заглядывали в окна его комнаты. Человек с ружьем, человек с пистолетом — все более виделся как воплощение идеала эпохи. Более того, даже не человек, а само ружье, сам **Товарищ Маузер**.

Одна картина из поэмы «150 000 000» кажется пророческой: на арену выходят профессора, «пустые головы... книжками нагрузив», пытаются коварно завлечь народ искусством певцы и художники. «Но их с

дулами браунингов молодая встретила **орава**». Лихая орава крушит старую культуру («культуришку») до тех пор, пока картины Лувра не превратились в потроха.

Сами слова — маузер, револьвер, наган, браунинг, бомба, парабеллум — стали для поэта словами изначально поэтическими. Недаром перед революцией он старому искусству, увязшему в «соловьях и розах», противопоставил бандитский кастет, тот, что шарахнет земной шар прямо «по черепу» («Облако в штанах»). Собор с проломанным черепом, земной шар с проломанным черепом. Горло мира, которое стиснули «пролетариата пальцы». Не менее характерен еще один его товарищ — **Товарищ-нож**.

Нож более традиционен для поэта, чем парабеллум. В народных песнях про разбойничка издавна пелось про «первого товарища — темную ночь и второго товарища — булатный нож». Пушкинский Гринев способен ощутить пиитический ужас, видя разбойничью шайку, но для него, как и для автора, несомненно: «Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Маяковского же увлекает сама беспощадность, разрушительная стихия, **дикий разгром**.

«В диком разгроме старое смяв, новый разгромим по миру миф». Лексикон уголовный: «Всех миров богатства прикарманьте!» Это первая революционная поэма «150 000 000». Поскольку Бога нет («вместо вер в душе электричество, пар»), то можно бросить и такое: «Стар — убивать. На пепельницы черепа!» И это сбылось. «Известия» рассказывали, что в одной из деревень делают **пепельницы** из черепов, которые вокруг валяются грудями...

«Безбожный» мир стал бесчеловечной реальностью. С ним происходит то, о чем писал поэт в стихах («про Перу»: вылиняли многоцветные краски, исчезли осмеянные ручьи и лун-

ные ночи. Звезды чаще горят «на гранях штывков», черный смог над Украиной, а не божественная гоголевская ночь. В храме нет Бога, и вокруг мы не узнаем Божьего мира. Слепленные из материалов «реки по имени факт» поэмы «В. И. Ленин» и «Хорошо!» превращаются в набор очевидных истин. Многие страницы поэмы о вожде — элементарная поллитрамота.

Грядущий мир, построенный «по чертежам деловито и сухо», жалок и примитивен. Враг мечанства ничего не может предложить, кроме роскошной мебели, электронно-механического рая, сыров с кисеей, фабрик с ситчиком для комсомолочек. Даже его привычный юмор не может скрасить пошлости («Летающий пролетарий», «Хорошо!», «Мистерия-буфф»).

Все повторилось и в нашем бытии. Мы разрушили храмы — покосились деревни, пропал сыр вместе с кисеей «от мух». Схватив за приводные ремни, мы перетащили, превратили плодородные земли в болота, «крепя у мира на горле» свои пальцы, придумали реки, моря, а стихи поэта обернулись «плоскостью раешников и ерундой частушек».

Говорят о жертвенности этого странного гения. Но позволительно ли становиться на горло собственной песне?

Евангельская притча предупреждает о жестокой каре за низведение таланта. Бунт против культа обернулся бунтом против культуры, потерей ее содержательного, духовного смысла. Сам же утилитаризм не дал даже утилитарного рафинада и сыра, ради которого поэт пожертвовал Богом и красотой.

Гигантский дар поэта, придавленный обезумевшей стопой, клочкотал, рвался наружу. Не потому ли в одну из тех осмеянных им волшебных ночей, когда струился Млечный Путь

«серебрянной Окою», когда поэт (который раз!) ощутил в себе способность говорить «векам, истории и мирозданию», он решил поставить точку пули в своей последней строке?

* * *

На этом можно было бы поставить точку. Но что-то остается невысказанное. Гремят во мне его могучие ритмы. Театральными лампами вспыхивают образы, слова. Стоит перед глазами лицо, которое театр Маяковского превратил в пустую маску. Огромные грустные глаза глядят с его портретов. Я любил его. Не разлюбил. Где десятки строк, которые не ложатся в эту однобокую схему? Про скрипку, про лошадь. Про щенков, щенят, плешивую собачонку? Справедлив ли этот беспощадный приговор? Могучий дар рвется из всех щелей, всех, в том числе и его собственных, схем.

Он обрушился на мою юность, как тропический ливень, как Ниагара. Он стал всем: светом, дыханием, силой, гордостью, вдохновением и самым любимым человеком. Его лик я уверенно вписывал в божицу века. Мир мерился Маяковским, мир делился на любящих Маяковского и всех прочих: жалких мешан, тупоумных обывателей. Его имя было паролем для знакомств и дружб.

Если бы он был жив! Ведь я один, я один на всей земле понимаю его, знаю каждую нежнейшую его струну, слушаю его пульс. Есть ли нежность более нежная? Я читал друзьям «Скрипку». Читал «немножко нервно». Сердился, если не видел слез. Во мне они закипали всякий раз.

Я пронес эту любовь сквозь студенческие годы. Я громохал маяковским басом на своих уроках литературы и очень гордился, что ярославские мальчишки иногда улюлюкали мне вслед: «Ма-я-ков-ский!!!»

На ярославские колокольни я не заглядывался. Вид они в 50-е годы являли непривлекательный. Да и к чему мне были эти прогнившие овощехранилища! Как сказано в «Мистерии—буфф»: «Крушите! Это учреждение не для нас».

Вообще мне нравилось сокрушать. Я знал, что «гвоздь у меня в сапоге» значит больше, чем «фантазия у Гете». Я пришел в мир, чтобы кроить его на свой лад, ибо он был дряхлым, а я был красивым, двадцатидвухлетним. Вокруг копошились обыватели, «бездарные многие, думающие нажать лучше как». Мое вдохновенное «я» наслаждалось своей полнотой, мало нуждаясь в уважении к вековечным традициям и уж вовсе далекое от того, чтобы смиренно вписаться в земное бытие, в культурный контекст.

Индийская пословица гласит: «Когда созревает ученик, приходит учитель».

Когда поэт служит не вечному, не бессмертному Богу, а человеку, то так просто от нигилистического бунта, придавив солдатским сапогом собственное певчее горло, пойти в услужение сегодняшнему часу и правительству.

В юные годы мне внушали, что-де итальянские футуристы пошли служить фашистам, а русские — совсем другое дело. Сегодня представляется иначе: отвергшие Бога, культуру, те и эти отдали свои перья «молодой ораве» с браунингами.

Культ жестокости пронизывал уже его футуристические манифесты. «Мы к жестокосердию приучали себя», — пишет он в 14-ом. Уже здесь ратует за поэзию, которая «необходима солдату, как сапог... которая, приучив нас любить мятеж, жестокость, правит снарядом артиллериста».

Он уже тогда писал бравурные подделки про казака Данилу Дикого, что

«продырявил немца пикою». Или: «Выезжали мы за Млаву бить колбасников на славу» (Так что желание писать агитплакаты родилось в нем прежде их революционного расцвета).

Задача, которая стоит перед нами, куда сложнее, чем у Творца, убежден поэт, ибо Ему надо было лишь создать новое, а нам еще «издинамитить старое». Насчет «издинамитить» он не ошибся. Но то, что люди культуры ощущали как величайшую трагедию, Маяковский ощущает как радость. Даже свою рифму он ощущает как «бочку с динамитом». И взорванный город взлетает на воздух. Вся поэзия (поэтика!) — культ войны. «Раскрыл я с тихим шорохом глаза страниц — и потянуло порохом от всех границ». И песенка — для **малышей!** — «Возьмем винтовки новые! Примкнем штыки!», «Целься лучше!»

Мне кажется, надо не только пренебречь традиционной христианской моралью, но с какой-то сатанинской иронией отъединить себя от людей, чтобы вывести строку:

Я люблю смотреть, как умирают дети.

Как бы благодушно, научно ни комментировали ее наши комментаторы, человеческое сердце отказывается это принять...

* * *

Как страшно сбывались его пророчества. Он звал когда-то окрасить кровью понедельник и вторник, чтобы стали они праздничны. Обещал стать знаменем в дни кровавого торжества («Облако»).

Понедельники, вторники и все прочие дни пошли заливаться этим чудным томатом, а его имя-знамя реяло на красных площадях, его профиль и его строки писали на красном фоне.

Праздник катился от Лубянки до

Колымы, растекался от Соловков до белорусской деревни.

Маяковский не мог не знать, что Антихрист не устоит, сметенный силами Света. Как вошла в его голову странная идея поставить на эту битую карту?

...Я вновь и вновь смотрю на любимые мной его портреты. Вот портрет 1913 года: вдохновенный юноша, свободная грация, артистизм. Какая сатанинская сила завлекла его «под своды таких богаделен»?

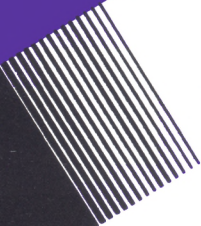
Но ведь он всю жизнь любил проигрывать безнадежные ситуации. За тринадцать лет до смерти в поэме «Человек» он сообщает, что поэт Маяковский «застрелился у двери любимой». Тщетно пытается он пере-

играть или опровергнуть эту ситуацию.

В 1918 году он снимается в роли поэта в сценарии, написанном по мотивам «Мартина Идена». Герой романа кончает самоубийством. Маяковский решает переиначить неудачную концовку. Переиначить ее в жизни не удалось.

Год великого перелома стоял на дворе. Он втоптал свою душу в его кровавое месиво. Маяковский успел заклеить кулака, воспеть ГПУ — и грохнулся на пол на той же Лубянке. И его музей стоит там же — плечом к плечу с надбавившим себе этажей многокомнатным и многокоридорным домом, овеванным ужасной славой.





ИЗДАЕТСЯ СОВЕТСКИМ КОМИТЕТОМ
ЗАЩИТЫ МИРА

Основан в 1958 году
Выходит ежемесячно на русском, английском,
французском, испанском и немецком языках

Цена 10 коп.

Главный редактор
А. БЕЛЯЕВ

■ ВЕК XX И МИР ■

■ XX CENTURY AND PEACE ■

■ LE XX^e SIECLE ET LA PAIX ■

ВЕК XX И МИР

Адрес редакции:
103009, Москва,
ул. Горького, 16/2,
Тел. 200-38-07

Индекс 70188

